

Люди

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 4479431 0

БЕСЕДНЫЕ ПОХОРОНЫ



ЭКСМО

Людмила Улицкая

ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ



ЭКСМО-ПРЕСС

2 0 0 2

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
У 48

Оформление обложки художников
М. Орловой и М. Аввакумова

Рисунки из альбома *Михаила Аввакумова*

Улицкая Л.

У 48 Веселые похороны: Повесть. — М.: Изд-во
ЭКСМО-Пресс, 2002. — 192 с., илл.

ISBN 5-04-007783-1

Действие повести «Веселые похороны» происходит в мастерской умирающего московского художника, давно уже прижившегося в Нью-Йорке. Последние дни его жизни приходятся на жаркий август 91-го года и сопровождаются непрекращающимся аккомпанементом назойливой южноамериканской музыки, несущейся с улицы, и напряженно-драматическими телевизионными трансляциями из Москвы.

Герой пытается разрешить сложные и противоречивые отношения с покинутой родиной, с официальным богом, которого ему навязывают, и с той Высшей Силой, присутствие которой он ощущает в мире... Он стремится всех примирить, помочь обрести себя своей внебрачной дочери-подростку, смягчить враждебные и агрессивные чувства и оставить после себя не голое и болезненное место, а область любви... И это ему удается...

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Л. Улицкая, 2001
© М. Орлова, 2001
© М. Аввакумов, 2001
© ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2001

ISBN 5-04-007783-1

Жара стояла страшная, влажность сто процентная. Казалось, весь громадный город, с его человеческими домами, чудесными парками, разноцветными людьми и собаками, подошел к границе фазового перехода и вот-вот полужидкие люди поплывут в бульонном воздухе.

Душ был все время занят: ходили туда по очереди. Одежду давно уже не надевали, только Валентина не снимала лифчика, потому что если отпустить ее большую грудь болтаться на свободе, то от жары под ней образовывались опрелости, как у младенца. В обычную погоду она лифчиков никогда не носила. Все было мокрым, вода с тел не испарялась, полотенца не сохли, а волосы можно было высушить только феном.

Жалюзи были полуоткрыты, свет падал полосатыми прядями. Кондиционер не работал уже несколько лет.

Баб в комнате было пять: Валентина в красном бюстгальтере, Нинка в длинных волосах и золотом кресте, исхудавшая так, что Алик ей сказал:

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

— Нинка, ты стала как корзинка. Для змей.

Корзинка эта стояла тут же, в углу. Алик когда-то по молодости лет ездил в Индию за древней мудростью, но ничего не привез, кроме этой корзинки.

Еще была соседка Джойка, прибившаяся к дому дурная итальянка, нашедшая себе столь странное место для изучения русского языка. Она все время на кого-нибудь обижалась, но, поскольку ее замысловатых обид никто не замечал, ей приходилось всех великодушно прощать.

Ирина Пирсон, в прошлом цирковая акробатка, а ныне дорогостоящий адвокат, сверкала художественно подбритым лобком и совершенно новой грудью, сделанной не знающими колебаний американскими хирургами ничуть не хуже старой, и ее дочка Майка, по прозвищу Тиннорт, пятнадцатилетняя, неопределенно-толетенькая, в очках и единственная из всех прикрытая одеждой, сидела на корточках в углу. На ней были толстые бермуды и, соответственно, майка. На майке была нарисована электрическая лампочка и люминесцентная надпись на неизвестно каком языке: «РИЗДЕЦ!» Это Алик сделал ей ко дню рождения в прошлом году, когда его руки еще кое-как двигались...

Сам Алик лежал на широкой тахте, такой маленький и такой молодой, как будто сын самого себя. Но детей как раз у них с Нинкой не было. И ясно, что уже не будет. Потому что Алик умирал. Какой-то медленный паралич доделал последние остатки его мускулатуры. Руки и ноги его лежали смиренно

Людмила Улицкая

и неодушевленно и даже на ощупь были не живыми и не мертвыми, а подозрительно промежуточными, как застывающий гинс. Самым живым в нем были волосы, рыжие, праздничные, густой щеткой вперед, да раскидистые усы, которые стали великоваты его исхудавшему лицу.

Вот уже две недели, как он был дома. Сказал врачам, что не хочет умирать в больнице. Были и еще причины, о которых они не знали и знать не должны были. Хотя даже врачи в этой скоростной, как забегаловка, больнице, которые в лицо больным заглянуть не успевали, а смотрели только в рот, в задницу или у кого там что болит, его полнубили.

А дома у них был проходной двор. Толпились с утра до ночи, и на ночь непременно кто-то оставался. Помещение здесь было для приемов отличное, а для нормальной жизни — невозможно: лофт, переоборудованный склад с отсеченным торцом, в который была загнана крошечная кухня, сортир с душем и узкая спальня с куском окна. И огромная, в два света, мастерская.

В углу, на ковре, почевали поздние гости и случайные люди. Иногда человек пять. Собственно двери в квартиру не было, вход был прямо из грузового лифта, поднимавшего сюда, до въезда Алика, кипы табака, призрачно присутствовавшего здесь и по сей день. Въехал Алик давно, чуть ли не двадцать лет тому назад, подписал не глядя какой-то контракт, как потом оказалось, странно выгодный.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

И по сей день Алик платил за квартиру такую ерунду. Впрочем, платил не он. Денег у него давно никаких не было — и ерунды даже.

Щелкнул лифт. Вошел Фима Грубер, стаскивая с себя на ходу простецкую голубую рубашку. Внимания на него голые женщины не обратили, да и он глазом не повел. При нем был докторский саквояж, старинный, дедовский, привезенный из Харькова. Фима был врач в третьем колена, широко образованный и оригинальный, но дела его складывались не блестящим образом, здешних экзаменов он еще не сдал и работал временно, уже пятый год, чем-то вроде квалифицированного лаборанта в дорогой клинике. Он заезжал каждый день, как будто надеясь, что ему повезет и он окажется Аliku чем-нибудь полезным. Он склонился над Аликом:

— Как дела, старик?

— А-а, ты... Расписание привез?

— Какое расписание? — удивился Фима.

— На паром... — слабенько улыбнулся Алик.

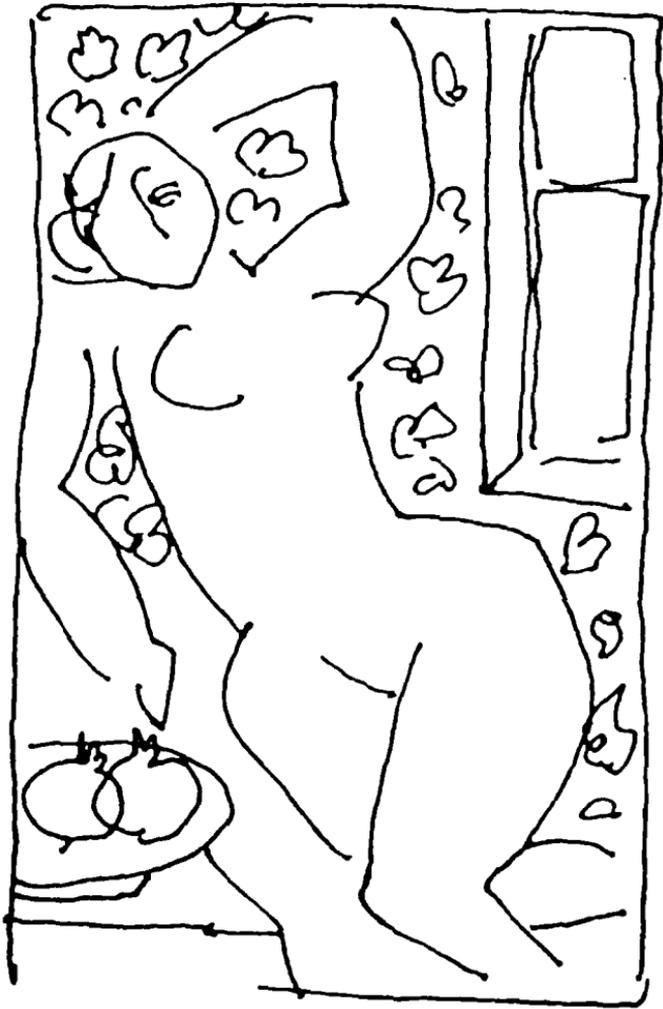
«Дело к концу, — подумал Фима. — Сознание начинает мешаться».

И он вышел в кухню, загромыхал в холодильнике примерзшими кассетами со льдом.

«Идиоты, какие же все идиоты. Ненавижу», — подумала девочка.

Она недавно проходила греческую мифологию и единственная из всех догадалась, что Алик имеет в виду не South Ferry. Со злым и высокомерным лицом она подошла к окну, отогнула край жалюзи и

Людмила Улицкая



стала смотреть вниз. Там всегда что-нибудь проходило.

Алик оказался первым взрослым, кого она удостоила общением. Как и многих американских детей, ее с малолетства таскали по психологам, и не без оснований. Она разговаривала только с детьми, с большой неохотой делала исключения для матери, остальные взрослые для нее просто не существовали. Учителя принимали ее работы в письменном виде, выполнены они были точно и лаконично. Ей ставили высшие баллы и пожимали плечами. Психологи и психоаналитики строили сложные и весьма фантастические гипотезы о природе ее странного поведения. Нестандартных детей они любили, это был их хлеб.

Познакомилась она с Аликом на вернисаже, куда мать притащила свою неуклюжую девочку. Они тогда только-только переехали из Калифорнии в Нью-Йорк, и потерявшая сразу всех друзей Тиннорт согласилась пойти с матерью. С Аликом ее мать была знакома со времен ее цирковой юности, еще по Москве, но в Америке они много лет не виделись. Так долго, что Ирина совершенно перестала думать, что именно она ему скажет, когда они встретятся. В тот день, когда они встретились на вернисаже, он левой рукой взял ее за пиджачную пуговицу с толстым, как курица, орлом, резким поворотом оторвал ее, подбросил и поймал. Потом раскрыл ладонь и мельком взглянул на сияющего орла:

Людмила Улицкая

— Придется сказать тебе одну вещь.

Правая рука его висела вдоль тела как неживая. Левой он прижал Ирину густо-русую голову, волосок к волоску причесанную, с черным шелковым бантом в натуральных жемчужинах по краю, и шепнул ей в ухо:

— Ирка, я скоро помру.

Казалось бы, ну и помри. Ты для меня уже давно умер... Но она ощутила прикосновение узкого и тонкого металлического лезвия под ложечкой, и медленное его движение внутрь, и острую боль по всему разрезу до позвоночника. Рядом стояла дочка и смотрела во все глаза.

— Зайдем ко мне, — предложил Алик.

— Я с дочкой. Не знаю, захочет ли она. — Ирина посмотрела на Тиннорт.

Девочка давно уже с ней никуда не ходила. Ирина еле уговорила ее пойти на эту выставку. Она спросила у дочери, совершенно уверенная, что та откажется:

— Хочешь, зайдем в ателье к моему знакомому художнику?

— К этому рыжему? Хочу.

И они зашли. Картины, хотя были явно недавние, очень напоминали прежние. А через несколько дней зашли еще раз, почти случайно — мимо проходили. Тогда Ирину вызвали на какое-то важное деловое свидание, и она оставила Тиннорт в мастерской часа на три, а вернувшись, застала невероят-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

ную картину: они орали друг на друга, как две разгневанные птицы. Алик размахивал левой рукой, правая уже съежилась и почти не действовала, он приседал и немного подпрыгивал:

— Да неужели тебе в голову не приходило, что все дело в асимметрии? Все дело в этом! Симметрия — смерть! Полная остановка! Короткое замыкание!..

— Да не ори ты! — кричала покрасневшая всеми веснушками Тинорт, и акцент ее был сильнее обычного. — А если мне правится? Просто правится! Почему вы всегда-всегда правы?

Алик опустил руку:

— Ну, знаешь...

Ирка едва в обморок не упала у лифта. Алик, сам того не зная, в два счета разрушил ту странную форму аутизма, которым страдала ее девочка лет с пяти. Старое злое пламя вспыхнуло в ней, но сразу же и погасло: чем таскать дочку по психиатрам, не лучше ли предоставить ей возможность человеческого общения, которого ей так не хватало...

2

Снова щелкнул лифт. В дверном проеме Нинка увидела новую посетительницу и вылетела навстречу, натягивая черное кимоно.

Маленькая, редкой толщины тетка, заботливо поставив между колен раздутую хозяйственную

Людмила Улицкая

сумку, с пыхтеньем усаживалась в низкое кресло. Была она вся малиновая, дымящаяся, и казалось, щеки ее отливали самоварным сиянием.

— Марья Игнатьевна! Я вас третий день жду!

Тетка села на самый край сиденья, растопырив розовые ноги в поделесничках, которые на этом континенте не водились.

— А я, Нипочка, вас не забываю. Все время с Аликсом работаю. Вчера с шести вечера его держала... — Она подошла к Нипкинному лицу треугольные пальчики с дистрофичными зеленоватыми пятнами. — Верить ли, такое напряжение, у самой-то давление стало, еле хожу... Жара эта проклятая еще... Вот, принесла последнее...

Она вынула из матерчатой сумки три темные бутылки с густой жижей.

— Вот. Натирку новую сделала и дышалку. А эта — на ноги. Тряпочку намочить и к ступочкам приложить, а сверху мешочек целлюлофановый, и завяжи. Часа на два. А что кожа сойдет, это ничего. Как снимешь, так и обмой сразу...

Нипка молитвенно смотрела на это чучело и на ее снадобье. Взяла бутылки. Одну, что поменьше, прижала к щеке — прохладная. Понесла в спальню. Опустела жалюзи и поставила бутылки на узкий подокошник. Там уже была целая батарея.

А Марья Игнатьевна взялась за чайник. Она была единственным человеком, который мог пить чай в такую жару, и не американский, ледяной, а русский, горячий, с сахаром и вареньем.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Пока Нипка, тряся своими длинными волосами, с которых вроде бы сошла позолота и обнажилось глубокое серебро, наматывала Аликю на ноги компрессы, укрывала легкой простыней в псевдошотландскую, никакому клану не принадлежащую клетку, Марья Игнатьевна беседовала с Фимой. Он интересовался ее результатами. Она смотрела на него с великодушным презрением:

— Ефим Исакыч! Фимочка! Какие результаты! Землей же пахнет... Однако всё в божьих руках, вот что я скажу. Уж я такого навидалась. Вот уходит, совсем уж уходит, аи нет, не отпускает его. В траве-то какая сила! Камень пробивает. Верхушечка-то... Вот я ее, верхушечку, и беру, и от корешка беру верхушечку... Другой раз, бывает, уж совсем к земле пригнулся, а смотришь — встает. В бога надо веровать, Фима. Без бога и трава не растет!

— Это точно, — легко согласился Фима и потер левую щеку, покрытую воронкообразными следами юношеских гормональных боев.

Про положительный фототаксис растений, о котором смутно и таинственно вещала толстуха с мягким, как будто тряпочным лицом, он знал из курса ботаники за пятый класс, но поскольку он был все-таки специалистом, то знал также, что чертова Аликова болезнь никуда не денется: последняя работающая мышца, диафрагмальная, уже отказывает, и в ближайшие дни наступит смерть от уд-

Людмила Улицкая

ния. Местная проблема, которая вставала в таких случаях, — когда отключить аппарат, — была решена Аликом заблаговременно: он ушел из больницы под самый конец и отказался, таким образом, от жалкого доведка искусственной жизни.

Фиму теперь удручала мысль, что, вероятно, именно ему придется в какой-то момент ввести Алику спотворное, которое снимет страдания удущья и своим побочным действием — угнетением дыхательного центра — убьет... Но делать было нечего — положить Алика в госпиталь по «Скорой помощи», как делали уже дважды, теперь вряд ли было возможно. А снова искать фальшивый документ хлопотно и опасно...

— Удачи вам, — мягко сказал Фима и, прихватив известный саквояж, ушел не прощаясь.

«Обиделся он, что ли?» — подумала Марья Игнатьевна.

Она в здешней жизни мало понимала. Приехала год назад из Белоруссии, по вызову больной родственницы, но, пока оформляла документы, пока сюда добиралась, лечить уж было некого. Так и перемахнула она через океан со своей чудодейственной силой и контрабандной травкой понапрасну. То сеть не совсем понапрасну, потому что и здесь нашлись любители ее искусства, и она занялась противозаконной нелегальной деятельностью, не боясь никаких неприятностей. Только все удивлялась: что это у вас за порядки тут, я лечу, можно

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

сказать, с того света выпимаю, чего мне бояться... Объяснить ей ни про лицензии, ни про палогы никто не мог. Нинка подцепила ее в маленькой православной церкви на Манхэттене и сразу же решила, что ей знахарку бог послал для Алика. В последние годы, еще до Аликовой болезни, Нинка обратилась в православие, чем нанесла большой удар по макобесию: любимое свое развлечение, карты Таро, сочла за грех и подарила Джойке.

Марья Игнатьевна поманила Нинку пальцем. Нинка метнулась на кухню, налила в стакан апельсинового сока, потом водки, бросила горсть круглых ледышек. Питье ее было давно на местный мапер: слабое, сладковатое и беспрерывное. Она поболтала палочкой, глотнула. Марья Игнатьевна тоже поболтала — ложечкой в чашке с чаем — и положила ложечку на стол.

— Вот слушай-ка, чего тебе скажу, — строго сказала она. — Крестить его надо. Всё. Иначе — ничего не поможет.

— Да не хочет он, не хочет, сколько раз я тебе говорила, Марья Игнатьевна! — взвилась Нинка.

— А ты не ори, — нахмурилась Марья Игнатьевна безбровым лицом, — уезжаю я. Бумага эта самая у меня уж давно кончилась. — Она имела в виду давно просроченную визу, но ни одного иностранного слова запомнить не умела. — Кончилась бумага-то. Уезжаю. Мне уж и билет прокомпостировали. Если ты его не крестишь, я его брошу. А кре-

Людмила Улицкая

стишь, Нин, я с ним работать буду, хоть оттуда, хоть как... А так не смогу... — И она театрально развела ручками.

— Ничего я не могу сделать. Не хочет он. Сместя. Пусть, говорит, твой бог меня беспартийного примет, — опустила Нина свою слабую маленькую головку.

Марья Игнатьевна выпучилась:

— Нин, ты что? Вы здесь как в лесу живете. Да на что же господу богу партийные?

Нинка махнула рукой и допила свое пойло. Марья Игнатьевна палила еще чайку.

— Я о тебе жалю, деточка. У бога обителей много. Я хороших людей разных видела — и евреев, и всяких. На всех наготовлено. Вот мой Константин убиспный — крещеный и ждет меня, где всем положено. Я, конечно, не святая, да и пожить-то мы с ним пожили всего два года, я вдовой в двадцать один год осталась. Было кой-чего, не скажу, грешна. Но другого мужа у меня не было. И он ждет меня там. Поняла, о чем я забочусь? А то порознь будете, там-то. Ты крести его хоть так, хоть втемную... — увещевала Марья Игнатьевна.

— Как — втемную? — переспросила Нина.

— Идем-ка отсюда, от народу, — зашипела со значением Марья Игнатьевна, и, хотя народ весь толпился возле Алика, а в кухоньке никого не было, она затолкала Нинку в уборную, села на унитаз, накрытый розовой крышечкой, а Нинку усадила на

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

пластиковый короб для грязного белья. Здесь, в самом неподходящем месте, Нипка и получила все необходимые наставления...

Вскоре пришла Фаина, кренкая, как щелкунчик, с деревянным лицом и проволочной белесой соломой на голове. Она была из свеженьких, но быстро прижилась.

— Фотоаппарат купила, — с порога заявила она, входя к Алику и размахивая над его неподвижной головой повешенькой коробочкой. — «Полароид!» С обратимой пленкой! Ну давайте же фотографироваться!

Для нее в этой стране было много такого, чего она еще не попробовала, и она торопилась поскорее всего закупить, надкусить, оценить и иметь по любому поводу мнение.

Валентина помахала над Аликом простыней. Но ему, единственному из всех, не было жарко. Валентина сбросила простыню и, залезши за спину Алика, села, опершись об изголовье. Подтянула его повыше, прижала его темно-рыжую голову к самому солнечному сплетению, туда, где, по словам покойной бабушки, жительствовала «душка». И вдруг слезы брызнули от жалости к Алику, к его бедной голове, так беспомощно ткнувшейся ей под грудь. Как ребенок, который еще не держит головки. Никогда за время их долгого романа не испытывала

Людмила Улицкая

она такого острого и живого чувства: держать его в руках, на руках, а еще лучше — спрятать его в самую глубину своего тела, укрыть от проклятой смерти, которая уже так явно коснулась его рук и ног.

— Девки, в кучу собирайтесь, петушок пронел давно! — крикнула она улыбочными губами, стерев ладонью пот со лба и слезы со щеки. На плечи Алику она вывесила свои знаменитые груди в красной унаковке, сбоку на кровать села Джойка, согнув Аликову ногу в колене и придерживая ее плечом. С другой стороны, для фотографической симметрии, присела Тишорт.

Файка долго крутила фотоаппарат, не могла найти видоискатель, а когда заглянула в него, то фыркнула:

— Ой, Алик, муде на первом плане. Прикройте.

На самом деле на первом плане были трубочки мочеиспускателя.

— Ну вот еще, такую красоту прикрывать, — возразила Валентина, и Алик двинул уголком рта.

— Мало проку от этой красоты, — заметил он.

— Файка, погоди, — попросила Валентина и, подсунув под Аликову спину две большие русские подушки из Нипкиного генеральского приданого, прошла прямо по кровати к изножью и отклеила от нежного места розовый пластырь, на котором крепилась вся амуниция.

— Пусть отдохнет немножко, на воле побегает...

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Алик любил всякие шутки и второсортным тоже улыбался. Делала все Валентина быстро, опытной рукой. Бывают такие женщины, у которых руки все наперед знают, их и учить ничему не надо, медсестры от рождения.

Тишорт не выдержала и вышла из комнаты. Хотя она еще в прошлом году все испробовала сначала с Джеффри Лешинским, а потом с Томом Кейпом и пришла к выводу, что никакой секс ей даром не нужен, почему-то от манипуляции с катетером ее дернуло. Как она его рукой взяла... Чего они все к нему так липнут...

Душ был как раз свободен. Она стянула шорты. Через ткань оплестила прямоугольную коробочку. Свернула все аккуратно, чтобы не выпало. Инструкцию она помнила наизусть. Сегодняшнюю ночь она провела возле Алика. Не всю, несколько часов. Нинка вырубилась и спала в мастерской, а Алик не спал. Он попросил ее, и она все сделала, как он хотел, и теперь эта коробочка была доказательством того, что именно она и есть его самый близкий человек.

Вода была не холодная, трубы сильно прогрелись в такую жару. Все полотенца мокрые. Она обтерлась кое-как, нацепила на влажное тело одежду и выскользнула из квартиры: ей не хотелось с ними фотографироваться, вот что она поняла.

Она вышла к Гудзону, потом свернула в сторону парома и все думала о единственном нормальном

Людмила Улицкая

взрослом человеке, который как будто назло ей собирается умирать, чтобы опять оставить ее одну со всеми этими многочисленными идиотами — русскими, еврейскими, американскими, — окружающими ее с самого рождения...

3

Со зрением у Алика что-то происходило: оно и угасало, и обострялось одновременно. Все слегка укрупнилось и изменило плотность. Лица подруг вдруг стали жидковаты и предметы слегка текучи, но струение это было скорее приятным, к тому же оно по-новому выявило связи между предметами. Угол комнаты был взрезан одинокой старой лыжей, грязные белые стены бодро разбегались от нее в разные стороны. Это движение стен сдерживала женская фигура, сидящая на полу по-турецки и касающаяся затылком зыбкой стены. Самая прочная часть всей картины и была как раз эта точка соприкосновения женской головы и стены.

Кто-то подобрал снизу жалюзи, свет упал на темную жижу в бутылках, и она засветилась зеленым и темно-золотым. Жидкость стояла на разных уровнях, и в этом бутылочном ксилофоне он узнал вдруг свою юношескую мечту. В те годы он написал множество патюрмортов с бутылками. Тысячи бутылок. Может быть, даже больше, чем выпил... Нет, выпил все-таки больше. Он улыбнулся и закрыл глаза.

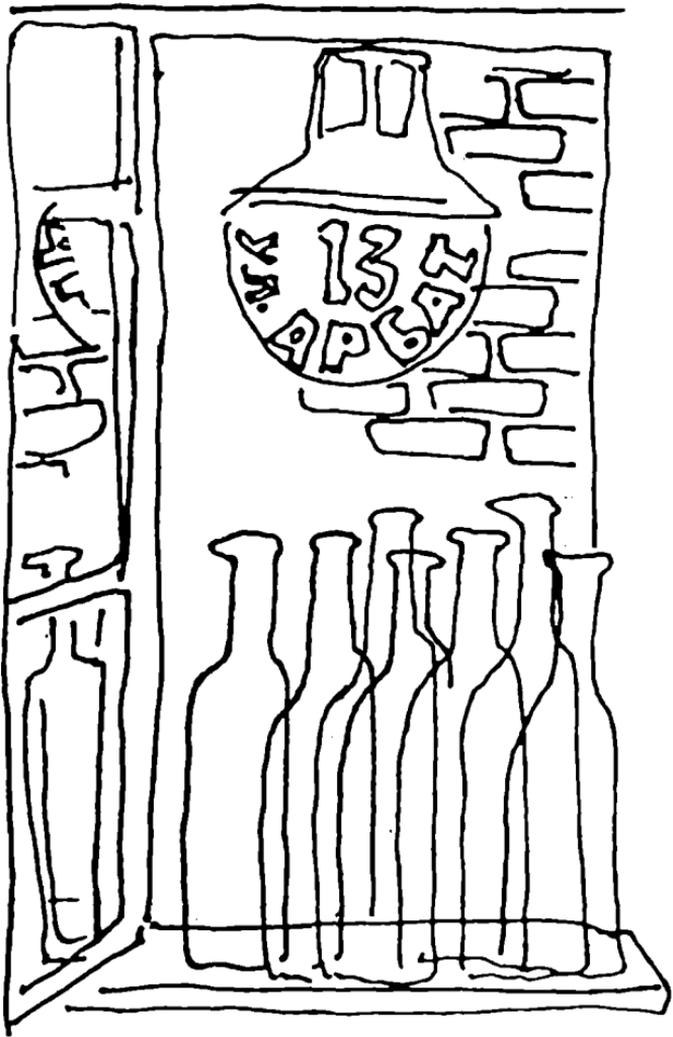
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Но бутылки никуда не делись: поблудневшими зыбкими столбиками они стояли в изнанке век. Он понимал, что это важно. Мысль ползла медленно и огромно, как рыхлая туча. Эти бутылки, бутылочные ритмы. И ведь музыка звучала... Скрибинская светомузыка, как оказалось при рассмотрении, была полным фуфлом — механистично и убого. Он тогда стал изучать оптику и акустику. И этим ключом тоже ничего не открывалось. Натюрморты его были не то чтобы плохие, но совершенно необязательные. К тому же он и Морауди тогда не знал.

Потом все эти натюрморты как ветром разнесло, ничего не осталось. Где-нибудь в Питере, может, сохранились у тогдашних друзей или у Казанцевых в Москве... Господи, как же тогда пили. И бутылки собирали. Обыкновенные сдавали на обмен, а заграничные или старинные, цветного стекла, сохраняли.

И те, что стояли тогда на краю крыши, на ее жестяном отвороте, были темного стекла, из-под чешского пива. Кто поставил, так потом и не вспомнили. Из казанцевской кухни была дверка низкая в мезонин, а из мезонина — окно на крышу. Из этого окна и выпорхнула на крышу Ирка. Ничего особенного в этом не было: по этой крыше без конца бегали, и плясали, и загорали на ней. Она сползла на задку вниз по скату, а когда встала, на белых джинсах отчетливо были видны два темных пятна во все ягодницы. Она стояла на самом краю крыши, чудесная легконогая девчонка. Бог послал

Людмила Улицкая



их друг другу для первой любви, и они все делали по-честному, без халтуры, до звона в небе.

Когда строгий дед, потомственный циркач, выгнал Ирку из труппы за то, что она прогуляла репетицию, сорвавшись с Аликом в Питер на два дня, они тут, в мезонине у Казанцевых, и поселились и жили к тому времени уже три месяца, изнемогая под бременем все растущего чувства... А в тот день пришел в гости знаменитый молодежный писатель, взрослый, с двумя бутылками водки. Он был симпатичный. И Ирка дернула плечом чуть не так, и посмотрела вкось, и что-то сказала немного более низким, чем обычно, голосом, и Алик шепнул ей:

— Зачем ты кокетничашь? Это пошло. Если он тебе нравится, дай.

Он ей и вправду понравился.

— Нет, не в том смысле. А если в том, то совсем немножко, — говорила она потом Алику.

Но в ту минуту от злости и от жестокой справедливости его слов она выскочила в окошко и съехала на заднице к краю крыши, а потом встала во весь рост рядом с бутылками и присела на корточки — еще никто не смотрел в ее сторону, кроме Алика, — обхватила пальцами горлышки крайних бутылок и сделала на них стойку. Острые носки ее туфель замерли на фоне лилового неба. Те, кто сидел лицом к окну, увидели стоящую на руках Ирку и замолчали.

Писатель, ничего не заметивший, рассказывал

Людмила Улицкая

байку об украденной генеральской шинели и сам себе похотывал.

Алик сделал шаг к окну... А Ирка уже шла на руках по бутылкам. Она обнимала горлышко бутылки двумя руками, потом отрывала одну руку, пацупывала следующую бутылку и, ухватившись за нее, переносила на нее тяжесть своего напряженного тела... Писатель еще немного побасил и осекся. Почувствовал: что-то происходит за спиной. Он оглянулся и дрогнул начиняющими ползать щекими — он не переносил высоты. Дом-то был ерундовый, полуторазтажный, высотой метров в пять. Но физиология куда как сильнее арифметики.

Руки у Алика стали мокрыми, по спине струйкой тек пот. Нелька Казанцева, хозяйка дома, тоже баба шальная, загрохотав вниз по деревянной лестнице, бросилась на улицу.

Медленно, царапая носками туфель затвердевшее небо, Ирка добралась до последней бутылки, ловко поджала ноги, села на крышу и соскользнула вниз по хлипкой водосточной трубе. Нелька уже стояла внизу и кричала:

— Беги! Беги скорей!

Она видела выражение лица Алика, и реакция у нее оказалась самая быстрая. Ирка метнулась в сторону Кропоткинской, но было уже поздно. Алик схватил ее за волосы и врезал оплеуху...

Еще два года они промаялись, все не могли расстаться, но на этой оплеухе кончилось все самое

БЕСЪЛЫЕ ПОХОРОНЫ

лучшее. А потом расталсь, не сумевши ни прогнать, ни разлюбить. Гордость была дьявольская — в тот вечер она таки ушла с писателем. Но Алик тогда и бровью не повел.

Ирка первой подвела черту: напялась в труппу воздушных гимнастов, в чужую, в конкурентную, дед ее проклял, и уехала на большие гастроли на все лето с шанито. Алик же сделал тогда первую эмиграционную пробу — пересехал в Питер...

Алик открыл глаза. Он еще чувствовал жар, идущий от нагретой крыши ветхого особнячка в Афанасьевском, и мышцы еще как будто отзывались на бурный пробег по деревянной лестнице казанцевского дома, и это воспоминание во сне оказалось богаче самой памяти, потому что он унес разглядеть такие детали, которые давно растворились: треснутую чашку с портретом Карла Маркса, из которой пил хозяин дома, потерянное веком кольцо с мертвой зеленой бирюзой в эмалевом темно-синем касте на Иркиной руке, белую породистую прядь в темной голове десятилетнего казанцевского сына...

Солнце уже шло на закат, в Нью-Джерси, свет косил из окна прямо на Алика, и он жмурился. Джойка сидела на постели возле него, читала по его просьбе «Божественную комедию» по-итальянски и довольно коряво пересказывала каждую терцину по-английски. Алик не открыл ей, что довольно прилично знает итальянский: жил когда-то почти

Людмила Улицкая

год в Риме, и этот веселый чокающий язык без труда отпечатался в нем, как след руки в глине. Но теперь ничего не значили его дарования — ни хваткая память, ни тонкий музыкальный слух, ни талант художника. Все это он унесл с собой, даже дурацкое умение петь тирольские песни и перво-классно играть на бильярде...

Валентина массировала его пустую ногу, и ей казалось, что в мышцах немного прибавляется жизни.

Пока он был в сонном забытии, приехал Аркаша Либин с новым кондиционером и относительно новой подружкой Наташей. Либин был любителем некрасивых женщин, и притом совершенно определенного типа: субтильных, с большими лбами и маленькими ротиками.

— Либин стремится к совершенству, — еще недавно шутил Алик. — Наташке в рот чайная ложка еле пролезает, а следующую он будет кормить одними макаронами.

Либин был намерен сегодня снять сломанный кондиционер и установить новый и собирался сделать это в одиночку, хотя даже специалисты работали обыкновенно в паре.

Обещающая успех русская самоуверенность. Он переставил бутылки с подоконника на пол, снял жалюзи, и в ту же секунду, как будто сквозь образовавшуюся дыру, с улицы хлынула ненавидная Алику латиноамериканская музыка. Уже вторую

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

неделю весь квартал дожимали шестеро южноамериканских индейцев, облюбовавших себе угол прямо под их окнами.

— Нельзя ли их как-нибудь заткнуть? — тихо спросил Алик.

— Проще тебя заткнуть, — отозвалась Валентина и нацепила на Алика паушники.

Джойка в обиженном недоумении посмотрела на Валентину. На этот раз она обиделась еще и за Данте.

Валентина поставила ему джанглиновский регтайм. Слушать эту музыку он научил ее во времена тайных встреч и почных блужданий по городу.

— Спасибо, зайка, — дрогнул веками Алик.

Всех их он звал зайками и кесками. Большинство их приехали с двадцатью килограммами груза и двадцатью английскими словами в придачу и совершили ради этого перемещения сотни крупных и мелких разрывов: с родителями, профессией, улицей и двором, воздухом и водой и, наконец, что осознавалось медленнее всего, — с родной речью, которая с годами становилась все более инструментальной и утилитарной. Новый, американский язык, приходящий постепенно, тоже был утилитарным и примитивным, и они изъяснялись на возникшем в их среде жаргоне, умышленно усеченном и смешном. В это эмигрантское наречие легко входили обрезки русского, английского, идиш, самое изысканное черпословие и легкая нигтонация еврейского анекдота.

Людмила Улицкая

— Боже ж мой, — ерничала Валентина, — это же гребаный кошмар, а не музыка! Уже закрой свою форточку, ингеле, я тебе умоляю. Что они себе думают, чем пойти покушать и выпить и иметь полный фан и хороший муд? Они делают такой гевалт, что мы имеем от них одни хедик.

Обиженная Джойка, оставив на кровати красный томик флорентийского эмигранта, ушла к себе, в соседний подъезд. Мелкоротая Наташа варила на кухне кофе. Валентина, переложив Алика на бок, терла ему спину. Прележей пока не было. Моче-приемник больше не надевали — кожа сгорала от пластырей. Подмокших простыней накопилась куча, Файка собрала их и пошла в прачечную, на уголлок. Нипка дремала в кресле, в мастерской, не выпуская из рук стакана.

Либби безуспешно возился с кондиционером. У него не хватало крепежной планки, и он родным российским способом пытался из двух неподходящих длинных сделать одну короткую, не прибегая к помощи инструментов, которые забыл дома.

4

Долго отступавшее солнце закатилось наконец, как полтинник за диван, и в пять минут наступила ночь. Все разошлись, и впервые за последнюю неделю Нипка осталась с мужем наедине. Каждый раз, когда она подходила к нему, она заново ужасалась.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Несколько часов сна, усиленного алкоголем, давали душе отдых: во сне она полно и с наслаждением забывала об этой редкой и особенной болезни, которая падала на Алику и скручивала его со странной силой, а просыпаясь, каждый раз падалась, что все это наваждение ушло и Алик, выйдя ей навстречу, скажет свое обычное: «Зайка, а что это ты тут делаешь?»

Но ничего такого не происходило.

Она вошла к нему, прилегла рядом, покрыв волосами его угловатое плечо. Похоже, он спал. Дыхание было трудным. Она прислушалась. Не открывая глаз, он сказал:

— Когда эта проклятая жара кончится?

Она встрепенулась, метнулась в угол, куда Либби составил полное собрание сочинений Марьи Игнатьевны в семи бутылках. Вытащила самую маленькую из бутылочек, свинтила с нее пробку и сунула Алику под нос. Запахло нашатырем.

— Легче? Легче, да? — затребовала Нинка немедленного ответа.

— Вроде легче, — согласился он.

Она снова легла с ним рядом, повернула его голову к себе и зашептала в ухо:

— Алик, прощу тебя, сделай это для меня.

— Что? — Он не понимал или делал вид, что не понимает.

— Крестись, и все будет хорошо, и лечение поможет. — Она взяла в обе руки его расслабленную

Людмила Улицкая

кисть и слабо поцеловала веснушчатую руку. — И странно не будет.

— Да мне и не странно, детка.

— Так я приведу священника, да? — обрадовалась она.

Алик собрал свой плывущий взгляд и сказал неожиданно серьезно:

— Ниц, у меня нет никаких возражений против твоего Христа. Он мне даже правитель, хотя с чувством юмора у него было не все в порядке. Дело, понимаешь, в том, что я и сам умный еврей. А в крещении какая-то глупость, театр. А я театра не люблю. Я люблю кино. Отстань от меня, киска.

Нинка сценила свои худющие пальцы и затрясла ими:

— Ну хотя бы поговори с ним. Он придет, и вы поговорите.

— Кто придет? — переспросил Алик.

— Да священник. Он очень, очень хороший. Ну прошу тебя... — Она гладила его по щеке острым языком, потом провела по ключице, по прилипшему к костям соску тем приглашающим интимным жестом, который был принят между ними. Она его соблазнила в крещение — как в любовную игру.

Он слабо улыбнулся:

— Валяй. Веди своего пона. Только с условием: раббая тоже приведешь.

Нинка обмерла:

— Ты шутишь?

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

— Почему же? Если ты хочешь от меня такого серьезного шага, я вправе иметь двустороннюю консультацию... — Он всегда умел из любой ситуации извлекать максимум удовольствия.

«Поддался, поддался, — ликовала Нинка. — Теперь кренцу».

Со священником, отцом Виктором, давно было договорено. Он был настоятель маленькой православной церкви, человек образованный, потомок эмигрантов первой волны, с крученой биографией и простой верой. Характера он был общительного, по натуре смелый, охотно ходил в гости к прихожанам, любил и выпить.

Откуда берутся раввины, Нинка понятия не имела. Круг их друзей был вовсе не связан с еврейской общиной, и следовало поднапрячься, чтобы обеспечить Алика раввином, если уж это необходимое условие.

Часа два Нина возилась с травяными примочками, снова ставила компрессы на ступни, растирала грудь пахучей резкой настойкой и в три ночи сообщила, что Ира Пирсон недавно, смеясь, говорила, что из всех здешних евреев она одна-единственная русская, умеющая приготовить рыбу-филе, потому что была замужем за настоящим евреем с субботой, кошером и всем, что полагается.

Вспомнив, Нинка немедленно набрала ее номер, и та обмерла, услышав среди ночи Нинкин голос.

Людмила Улицкая

«Всё», — решила она.

— Ир, слушай, у тебя был муж еврей религиозный? — услышала она в трубке дикий вопрос.

«Напилась», — подумала Ира.

— Да.

— А ты не могла бы его разыскать? Алик раб-бая хочет.

«Нет, просто совсем сошла с ума», — решила Ира и сказала осторожно:

— Давай завтра об этом поговорим. Сейчас три часа ночи, я в такое время все равно никому позволить не могу.

— Ты имей в виду, это очень срочно, — совершенно ясным голосом сказала Нишка.

— Я завтра вечером заеду, о'кей?

Ирина испытывала к Нише глубокий интерес. Возможно, это и была настоящая причина, почему она тогда, полтора года назад, согласилась зайти к нему в мастерскую: посмотреть, что же это за чудо в перьях, которому достался Алик.

Алик был кумиром женщин едва ли не от рождения, любимцем всех пятек и воспитательниц еще с ясельного возраста. В школьные годы его приглашали на дни рождения все одноклассницы и влюблялись в него вместе со своими бабушками и их собачками. В годы отрочества, когда охватывает дикое беспокойство, что уже пора начинать взрослую жизнь, а она все никак не задается и умничкине

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

мальчики и девочки кидаются в дурацкие приключения, Алик был просто незаменим: принимал дружеские исповеди, умел и насмешить, и высмеять, а главное, редкостное, что от него шло, — совершенная уверенность, что жизнь начинается со следующего понедельника, а вчерашний день вполне можно и вычеркнуть, особенно если он был не вполне удачен. Позднее перед его обаянием не устояла даже инспекторша курса в театрально-художественном училище, по прозвищу Змеиный Яд: четыре раза его выгоняли и три, хлопотами влюбленной инспекторши, восстанавливали.

При первом знакомстве Нина произвела на Ирину впечатление надменно-капризной дуры: потрепанная красавица сидела на грязном белом ковре и попросила ее не беспокоить — она складывала гигантский «пазл». При ближайшем рассмотрении Ирина сочла ее просто слабоумной, к тому же психически неуравновешенной: вялость у нее сменялась истериками, припадки веселья — меланхолией.

Впрочем, понять, почему он женился, еще можно было, но вот как он терпит столько лет ее доходящую до слабоумия глупость, патологическую лень и перьяшливость... Она испытывала не запоздалую ревность, а глубокое недоумение. Ирина никогда не сталкивалась с тем жекеким типом, к которому принадлежала Нина: именно своей безграничной беспомощностью она возбуждала в окру-

Людмила Улицкая

жающих, особенно в мужчинах, чувство повышенной ответственности.

У Нины, кроме того, была еще одна особенность: каждую свою прихоть, каприз или выдумку она доводила до предела. Например, она никогда не брала в руки денег. Поэтому Алик, уезжая, скажем, на неделю в Вашингтон, знал, что Нина не выйдет в магазин и предпочтет голодную смерть прикосновению к «гадким бумажкам». И он всегда забивал ей перед отъездом холодильник.

В России Нина никогда не готовила, так как боялась огня. Она увлекалась тогда астрологией и где-то вычитала, что ей, рожденной под знаком Весов, грозит опасность от огня. С тех пор она уже больше не подходила к плите, объясняя это космической несовместимостью знака воздуха и стихии огня. Здесь, в ателье, где вместо газовой плиты стояла электрическая и живой огонь она видела разве только на кончике спички, ее отвращение к стряпне не прошло, и Алик легко и с успехом справлялся с кухней.

Кроме денег и огня, была еще одна вещь, уже вполне неосознанная, — безумный, до столбняка, страх перед принятием решения. Чем незначительней был предмет выбора, тем больше она мучилась. Ирина однажды, получив кучу бесплатных билетов от своей клиптки-певницы, по просьбе Тишорт пригласила Алика с Ниной в театр. Они заехали за ними и оказались свидетелями того, как Нинка до изнеможения перемеряла свои маленькие узкие

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

платица и нарядные туфли, а потом бросилась в постель и сказала, что она никуда не пойдет. И плакала в подушку, пока Алик, избегая смотреть в сторону невольных свидетельниц, не положил рядом с Нишкой какое-то платье наугад и не сказал ей:

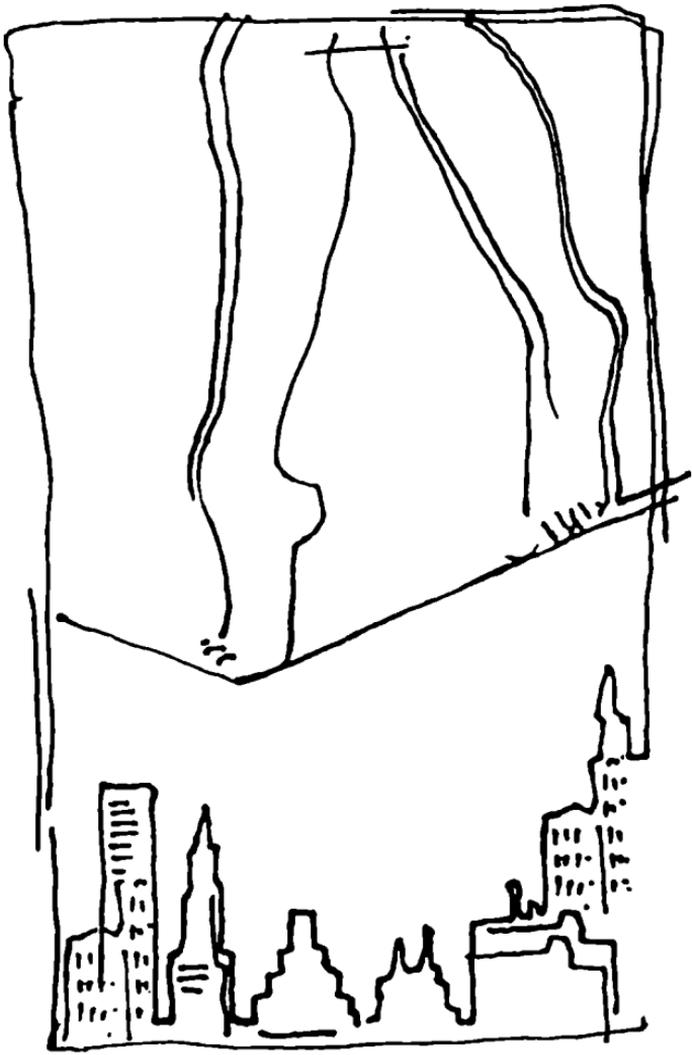
— Вот это. К опере бархат все равно что сосиски к пиву.

Тишорт, кажется, получила от этого представления больше удовольствия, чем от посредственной оперы.

Ирина хорошо знала цену прихоти и капризу: этим была полна ее юность. Но, в отличие от Нины, у нее за спиной было цирковое училище. Умение ходить по проволоке очень полезно для эмигранта. Может быть, именно благодаря этому умению она и оказалась самой удачливой из всех... Ступни режет, сердце почти останавливается, пот заливает глаза, а скулы сведены безразмерной оскальной улыбкой, подбородок победоносно вздернут, и кончик носа туда же, к звездам, — все легко и просто, просто и легко... И зубами, когтями, недосыпая восемь лет ровно по два часа каждый день, вырываете дорогостоящую американскую профессию... И решения приходится принимать по десять раз на дню, и давно взято за правило — не расстраиваться, если сегодняшнее решение оказалось не самым удачным.

«Прошлое окончательно и неотменимо, по власти над будущим не имеет», — говорила она в таких случаях. И вдруг оказалось, что ее неотменимое прошлое имеет какую-то власть над ней.

Людмила Улицкая



Ни о будущей смерти, ни о прежней жизни никаких разговоров Ирина с Аликом не вела. То, о чем она и мечтать не могла, произошло: Тинпорт общалась с Аликом и со всеми его друзьями так легко и свободно, что никому из них и в голову не приходило, какое сложное психическое расстройство перенесла девочка. Но теперь Ирина вряд ли могла объяснить себе самой, что заставляет ее проводить в шумном беспорядочном Аликовом логове каждую свободную минуту вот уже второй год.

Английская золотая рыбка, больше похожая на загорелого тунца, чем на нежную вуалехвостку, доктор Харрис, с которым Ирина тайно женихалась уже четыре года, приехавши на пять дней в Нью-Йорк, едва смог ее изловить и улетел обиженным, в полной уверенности, что она собирается его бросить... А это совершенно не входило в ее планы. Он был известным специалистом по авторским правам, занимал такое положение, что и познакомиться с ним для нее было почти невозможно. Чистый случай: хозяин конторы взял ее с собой на переговоры в качестве помощника, а потом был прием, на котором женщин почти не было, и она сияла на фоне черных смокингов, как белая голубка среди стальных воронов. Через два месяца, когда она уже и думать забыла об этой поездке в Англию, пришло приглашение на конференцию молодых юристов. Хозяин конторы долго не мог опомниться от изумления, но заподозрить Харриса в интересе к своей

Людмила Улицкая

миниатюрной помощнице не мог. Однако отпустил Ирину на три дня в Европу. И теперь все шло к тому, что Харрис женится...

И здесь не какая-нибудь любовь-морковь, а дело серьезное.

Каждая женщина, которой исполнилось сорок, мечтает о Харрисе. А Ирине как раз исполнилось.

В общем, получилось глупо...



Вечером Ирина приехала к Нинке для разговора. Но в спальне опять топталась знахарка, заскочившая на пять минут перед отъездом, Нинка вокруг нее бегала. В мастерской, как обычно, сидел народ.

Ирина была голодная, открыла холодильник. Там было плоховато. В бумажном пакете из русского магазина лежал дорогостоящий черный хлеб, подсыхал сыр. Ирина сделала себе бутерброд. Выпила Нинкиной смеси — в этом доме все почему-то начинали пить «отвертку» — апельсиновый сок с водкой... Наконец выползла Нинка.

— Так зачем тебе понадобился Готлиб?

— Какой Готлиб? — удивилась Нинка.

— О господи, да ты же ночью звопила...

— А, он Готлиб. Я и не знала, что он Готлиб...

Алик сказал, чтобы привезли раббай, — невинно сказала Нинка, а Ирина вдруг почувствовала прилив раздражения: чего она возится с этой идиот-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

кой... Но она профессионально сдержала раздражение и мягко спросила:

— Да зачем ему раббай? Ты ничего не пугаешь?

Нинка просияла:

— Да ты же ничего не знаешь! Алик согласился креститься.

Ирина от ярости заплась:

— Нин, если креститься, то, наверно, священник пужен, а?

— Само собой! — кивнула Нинка. — Само собой — священник. Это я уже договорилась. Но Алик попросил... он хочет еще и с раббаем поговорить.

— Он хочет креститься? — удивилась Ирина, уловив наконец самое существенное.

Нина опустила узкое личико в костлявые, переставшие быть красивыми руки.

— Фима говорит, что очень плохо. Все говорят, что плохо. А Марья Игнатьевна говорит, что последняя надежда — креститься. Я не хочу, чтобы он уходил в никуда. Я хочу, чтобы его бог принял. Ты не представляешь себе, какая это тьма... Это нельзя себе представить...

Нинка кое-что знала про тьму, у нее были три суицидальные попытки: одна в ранней юности, вторая после отъезда Алика из России и третья уже здесь, после рождения мертвого ребенка...

— Надо скорее, скорее. — Нинка вылила остатки сока в стакан. — Ирина, купи мне, пожалуйста,

Людмила Улицкая

сока. А водки не надо, водку вчера Славик принес. Пусть твой Готлиб нам раббая приволочет...

Ирина взяла сумку, опустила руку в металлический судок, стоявший на холодильнике, — туда складывали счета. Там было пусто: кто-то уже оплатил.

5

О себе она говорила: я ставила на всех лошадок, в том числе и на еврейскую. Еврейской лошадкой был огромный чернобородый Лева Готлиб, которому удалось засунуть русскую Ирку в иудаизм, да не как-нибудь, а по полной программе, с субботними свечами, миквой и головным убором, который был ей, кстати, очень к лицу. Маленькая Тинпорт была отправлена тогда в религиозную школу для девочек, которую, между прочим, до сего дня добром вспоминала.

Ирка просврействовала два полных года. Учила иврит: способностями она была никак не обижена, все ей давалось легко. Ходила в синагогу и наслаждалась семейной жизнью. В одно прекрасное утро она проснулась и поняла, что ей смертельно скучно. Она собрала попавшиеся под руку вещи и немедленно съехала, оставив Лева записку ровно в два слова: «Я уезжаю». Позднее, когда Лева разыскал ее у старых друзей и пытался восстановить семью, она отвечала только одно: надоело, Лева, надоело. Это был последний ее каприз, а может, эмоцио-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

пальный бунт — больше она не позволяла себе таких экстравагантных поступков.

Переехала в Калифорнию. Как она жила эти годы, нью-йоркским друзьям было неизвестно. Некоторые считали, что у нее был какой-то запасец. Другие подозревали, что ее содержит любовник. Толком никто ничего не знал: днем она носила английского стиля костюмы из льна и твида, а по вечерам, нацепив перья и блестки, выступала со своим акробатическим номером в специальном месте для богатых идиотов. Цирковое училище было не фунт изюму — настоящая профессия, не какой-нибудь PhD. Благодаря этой профессии по ночам она крутила ногами, а днем ворочала мозгами в юридической школе. В конце концов она ее окончила, пройдя положенный курс наук и научившись за эти годы вставать в половине седьмого, вместо сорокаминутной утренней вапшы принимать трехминутный душ и не поднимать телефонной трубки прежде, чем автоответчик объявит ей, кто именно звонит; она получила место помощника юриста в солидной конторе.

Жила она в Лос-Анджелесе, с эмигрантами почти не общалась, говорила с легким английским акцентом, которому надо было еще научиться. Это было даже шикарно. Люди понимающие знают, что избавиться от акцента труднее, чем его изменить. Свою незамысловатую русскую фамилию она помещала предусмотрительно, еще при получении первых американских документов.

Людмила Улицкая

Со времен шоу-карьеры у нее остались кое-какие артистические связи, и она привела с собой клиентуру. Не бог весть какую, но хозяин это оценил. Со временем он дал ей возможность вести дела самостоятельно. Она выиграла для него несколько незначительных дел. Для американского молодого человека такая карьера могла бы считаться неплохой. Для сорокалетней циркачки из России она была блестящей.

Бывшему мужу Леве развод тоже пошел на пользу. Он женился на правильной еврейской девушке из Могилева, не имевшей за спиной ни опыта цирковой акробатки, ни какого бы то ни было вообще. Большая, толстая и широкозадая, она родила ему за семь лет пятерых детишек, и это полностью примирило Леву с потерей Ирки. Рассудительная жена уверенно говорила подружкам:

— Вы же понимаете, всем нашим мужчинам по вкусу шиксы, но это до тех пор, пока они не имеют настоящую еврейскую жену.

Эта великая мудрость была последним пределом ее возможностей, но Лева не стал бы этого оспаривать.

Ирина довольно быстро разыскала по справочнику Леву, а когда попросила его о срочной встрече, он был сильно смущен. Два часа, покуда она добиралась к нему в Бронкс, он корчился от предчувствия большой неприятности или по меньшей мере неловкости, которые она с собой привезет.

Котора его была довольно замуранная, но де-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

ло, которое здесь варилось, было придумано когда-то Ирккой. Ее практический ум в сочетании с небрежной незаинтересованностью принес в свое время Левае удачу. Именно Ирка в самом начале их недолгого брака уговорила его вложить все имеющиеся у него деньги, с трудом сбитые пять тысяч, в рискованную и блестяще себя оправдавшую затею по производству кошерной косметики. В то время Ирина еще находилась в состоянии недолгого романа с иудаизмом, правда, весьма смягченным и реформированным, но не забывшим о драматических отношениях молока и мяса, в особенности того, которое при жизни хрюкало.

Левушкина косметика еще только-только находила своих потребителей, когда Ирина, покрытая трэфными бликами общеамериканской косметики, его покинула. Лева, вступив в новую полосу своей жизни, вскоре поменял ориентацию, изменив реформаторам с ортодоксами. Там был свой политический резон. Ему пришлось отказаться от производства грубых красок, оскверняющих благородные лица еврейских женщин, и он продал эту часть дела двоюродному брату, оставив за собой производство кошерного шампуня и мыла, а также научился производить кошерный аспирин и другие медикаменты. Вероятно, на свете существовало довольно много людей, которым эта идея не казалась сплюснутым надувательством.

Лева встретил Ирину на пороге своего кабинета. Оба сильно изменились, но изменения эти были

Людмила Улицкая

обусловлены скорее не течением лет, а новым характером жизни. Лева располнел и стал как будто меньше ростом за счет ширины спины и раздавленных щек, да и лицо утратило бело-розовый оттенок, напоминавший о молодом царе Давиде, и приобрело какой-то сумрачный цвет. Ирина же, ходившая в годы их брака в трикотажных майках с дыркой на плече и в длинных индийских юбках, метущих пол, поразила его журнальной безукоризненностью, жестким изяществом бровей и носа, твердостью подбородка и мягкостью губ.

«Жемчужина, настоящая жемчужина», — подумал Лева и, подумавши, сказал это вслух.

Ирина засмеялась прежним легким смехом:

— Я рада, Левушка, что тебе правлюсь. Ты очень изменился, но, знаешь, неплохо, такой солидный капитальный господин.

— И пятеро детей, Ирочка, пятеро. — И он вытащил из стола маленький альбомчик с фотографиями. — А как Маечка? — вдогонку спросил он.

— Нормально, взрослая девица.

Она внимательно рассмотрела альбом, кивнула и положила его на стол.

— Дело у меня вот какое. Старый приятель, еврей, дружок мой еще по Москве, тяжело болен. Умирает. Он хочет поговорить с раббасм. Можешь это устроить?

— И это вся твоя проблема? — Лева испытал огромное облегчение, потому что все-таки подозревал, что Ирина хочет предъявить ему какие-то иму-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

щественные претензии, связанные с теми пятью тысячами, потому что тогда они были в браке... Он был человек порядочный, но обременен семьей и несправедливо непредвиденные расходы. — Если тебе надо, я приведу хоть десять. — Он смутился, потому что сказал глупость, но Ирина не поняла или не обратила внимания.

— Но это надо срочно, очень срочно, он совсем плох, — попросила она.

Лева обещал позвонить сегодня же вечером.

Он действительно позвонил вечером и сказал, что может привести замечательного раббая, израильского, читающего сейчас какой-то мудреный курс в Нью-Йоркском университете. И уже договорился, что приведет его к больному сразу после конца субботы.

Весьма примечательно, но никогда ничего не забывавшая Ирина начисто забыла, что еврейская суббота кончается в субботу вечером, и объявила Нице, что раббай придет в воскресенье утром.

Священник, отец Виктор, обещал прийти в субботу после всенощной. Ника придавала большое значение тому, что священник появится первым.

6

Фима пришел к Берману очень поздно, без звонка, такая бесцеремонность была между ними принята. Их связывали давние отношения, отчасти

Людмила Улицкая

и рождественные. Рождество было дальним, трудновычисляемым, по dedu, но на самом деле это не имело значения. Важным было другое: оба они были врачи в том смысле, в каком люди урождаются блондинами, или певцами, или трусами, то есть по волеизъявлению природы. Чутье к человеческому телу, слух к движению крови, особое устройство мышления.

— Системное, — определял его Берман.

Оба они чуяли, какие качества характера в сочетании с определенным типом обмена тянут за собой гипертонию, где ожидать язвы, астмы, рака... Прежде чем начинать медицинский осмотр, они примечали, что кожа суха, белок мутноват, в углах рта — точечные воспаления...

Впрочем, в последние годы они мало кого осматривали, разве что знакомые просили.

В отличие от Фимы, Берман, переехав в Америку, сдал все экзамены за два месяца, подтвердил свой российский диплом и поставил одновременно местный рекорд: никому еще не удавалось так быстро справиться с полным курсом медицинской науки. Сразу же он получил работу в одной из городских больниц. Здесь и познакомился на практике с американской медициной, отдавая ей по семьдесят часов в неделю, и она показалась ему столь же малоудовлетворительной, что и российская, но по другим причинам. Тогда он и нашел для себя область, в которой мог держаться подальше от американских врачей. Он их мало уважал.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Область эта была новая, только обозначившаяся.

«В России такого лет двадцать не будет, а может, никогда», — с огорчением думал он.

Называлась эта область радиомедицина. Это было диагностическое направление, сочетающее введение в организм радиоизотопов и последующее компьютерное обследование.

Как говорил сам Берман, последние остатки мозгов ушли у него на освоение этого современного компьютера, последние остатки энергии — на добывание денег для его покупки и открытие собственной диагностической лаборатории, и последние остатки жизни он собирался потратить на выплату гигантских долгов, которые образовались в результате всех его усилий...

Дело его тем не менее шло хорошо, раскручивалось и набирало обороты, а все доходы шли пока на покрытие кредитов и выплату процентов, которые росли в этой стране быстро и незаметно, как плесень на сырой стене.

Долгов у Бермана было больше четырехсот тысяч, а у Фимы — четыреста долларов, то есть, по американской логике, первый процветал, второй же находился в самом жалком положении. Жили они в одинаково царшивых квартирах, ели одну и ту же дешевую еду. Разница только в том и заключалась, что Берман купил себе три приличных «докторских» костюма, а Фима обходился бедняцкой одеждой.

Людмила Улицкая

— Как живет вся Америка, так живем и мы, — усмехаясь Берман и фамильярно шлепал Фиму по плечу.

Оба прекрасно понимали, что, если уж Берману под его голову, образование или авантюрный проект дают такие кредиты, значит, всего этого он стоит. И потому он мог бы уже сегодня пересечь в хороший Ист-Сайд, если б не был скуповат и не осторожничал.

Фима ежился. Зависть не зависть, но нечто болезненное шевелилось в душе. Надо отдать Берману должное: открывая лабораторию, он предложил Фиме пойти к нему техником, однако для этого надо было закончить какие-то специальные курсы, а Фима все еще мусолил английские учебники, делал вид перед самим собой, что в будущем году уж точно он мобилизуется и сдаст наконец проклятые экзамены... словом, от дружеского предложения он отказался. Принять — означало бы полную и окончательную капитуляцию.

Когда-то в России они были на равных, два молодых талантливых врача, знающих себе цену. Здесь, благодаря к делу не идущей способности к лопотанию на этом собачьем языке, Берман так далеко ушел, что Фиме никогда уже не дотянуться. Но в данном случае, с Аликом, они по-прежнему были на равных — два врача возле одного больного.

Теперьшняя встреча представляла, собственно говоря, консилиум. Фима был первым врачом, к

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

которому обратился Алик, когда правая рука стала ему изменять. Два года тому назад.

«Ерунда, профессиональное переутомление, может, тендовагинит», — поставил Фима первый диагноз, но быстро спохватился. Левая рука тоже начала сдавать. Если бы процесс не шел так стремительно, можно было бы говорить о рассеянном склерозе. Нужно было большое хорошее обследование.

Провел первое обследование Берман. Бесплатно, конечно, еще и сам изотопы оплатил. Компьютер ничего не показал.

— Американская штучка, — ухмыльнулся Берман, — не хочет бесплатно работать... Пока ты с виду здоров, покупай страховку, старик. Она начинает действовать через полгода, но я тебе гарантирую, что такие вещи сами собой не проходят, — вынес свое заключение Берман.

Но денег на страховку не было, к тому же Алик никогда не думал о том, что будет через полгода. По этой же причине, а также из отвращения к очередям, чиновникам и казенным бумажкам, оставшегося у него с советских времен, у него никогда не было американских пособий. Среди иммигрантов было немало людей, которые чуть ли не соревновались в ловкости по выдавливанию разного рода подачек и льгот — от продовольственных карточек до бесплатных квартир, Алик же ухитрился прожить почти два десятилетия беззаботной птичкой, работая легко и потасунно: у многих создавалось впечат-

Людмила Улицкая

ление, что живет он напармачка, на авось. Особое раздражение он вызывал как раз не у честных работников, а именно у принципиальных бездельников и отъявленных ловчил.

Словом, не было у него никогда никакой страховки, как и постоянной работы, и рассчитывать на это не приходилось: меньше, чем когда-либо, был он теперь способен высидеть многодневные очереди в бесконечных коридорах и получить необходимые бумаги.

К счастью, американская система медицинского обслуживания, компьютеризованная и продуманная, оставляла некоторые щелчки, в которые можно было всунуться.

Первые анализы были сделаны по чужим документам. Кровь молчала.

Первую госпитализацию организовали на улице: вызвали «Скорую помощь» и разыграли небольшой спектакль. Хозяин кафе напротив дома вызвал машину, сказавши, что человек упал без сознания возле его двери. Человек этот лег на три сдвинутых стула, свесил рыжий хвост и, подмигивая приятелю-хозяину, минут пять ждал машины. Его забрали, провели обследование, дали medicaid на время пребывания в больнице.

Лечили его невропатологи, ставили капельницы, вводили положенные лекарства. Все было довольно уныло, и Алик из больницы сбежал. Фима устроил ему скандал: что бы там ни было, назначения были хорошие, лечение симптоматическое, по

БЕСЪАЛЫЕ ПОХОРОНЫ

другого и быть не может, когда диагноз не поставлен. Фима настаивал, чтобы он лег снова, и единственный способ снова туда попасть — сделать «мастырку». Фима быстренько организовал ему небольшой свищ на ключице, и Алик предъявил его как осложнение после неудачного лечения. Городская больница хоть и не частное учреждение, но тоже исков не любила, и его опять госпитализировали...

Так все тянулось. Алик ложился, снова выходил. Неясно было, помогает ли лечение, — кто ж знал, что было бы без него. Но правая уже висела плетью, левой он с трудом подносил ложку ко рту. Изменилась походка. Уставал. Спотыкался. Потом упал первый раз. И все это происходило с ужасающей скоростью. К весне следующего года он еле передвигался.

Последняя госпитализация была гораздо более сложным делом. Алика привезли к Берману в лабораторию, Берман сам вызвал «Скорую», сказал, что у него тяжелый больной на приеме. «Скорая» потребовала письменного свидетельства, что больной не умрет в дороге. Берман, который знал все здешние бюрократические уловки, письмо это уже заготовил. Он поехал с Аликом вместе, и, на счастье, главный человек, медсестра, оказалась знакомая Берману старая ирландка, хмурая, резкая и совершенный ангел — она дала направление в китайскую больницу, которая считалась лучшей из всех государственных. Это была удача, и первую неделю Алик оживился, ему, кроме обычного лечения, де-

Людмила Улицкая

лали иглоукалывания, прижигания, и даже казалось, что чувствительность рук восстанавливается...

Теперь Фима и Берман сидели на убогой кухне, среди грязных чашек и жизнерадостных тараканов. Они уже перестали строить предположения: боковой амниотрофический склероз, вирусное стволовое поражение, таинственная онкология...

Берман был довольно красив, хотя было в нем нечто от большой обезьяны: вислые сильные плечи, короткая неповоротливая шея, длинные руки, даже рот был туговато натянут на крупные зубы. Фима был весь корявый, из рытого лица смотрели на Бермана с ожиданием ясные светлые глаза...

— Ничего, Фима. Ничего в таких случаях не делают. Кислородная подушка.

— Удушье может очень медленно развиваться. Очень мучительно, — поморщился Фима.

— Сделай морфин или что там есть...

— Ладно, все ясно, — пробурчал Фима.

Он все-таки надеялся, что умный Берман знает что-то, чего он забыл. Но такого знания вообще не существовало.

7

Отец Виктор пришел около девяти. В сандалиях на босу ногу, в мешковатой рубахе, заправленной в короткие светлые брюки. В руках у него был че-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

модапчик-«дипломат» и целлофановый пакет, чем-то плотно набитый. Бейсбольную кепочку с певниными зелеными буквами N и Y он снял при входе и держал на сгибе локтя. Поздоровался с улыбкой, сморщившей его короткий нос.

Общество по случаю субботы было многолюдным: Валентина, Джойка с сереньким Достоевским под мышкой, Ирина, Тинпорт, Файка, Либби с подружкой, все обычные посетители, а сверх того приехавшие из Вашингтона сестры Бегинские, американский художник Руди, приятель Алика по каким-то совместным акциям, никому не известная гостья из Москвы, представившаяся так невнятно, что ее имени никто не запомнил, Шмуль из Одессы и собака Киплинг, которую оставила на несколько дней старая знакомая.

Алика вытащили из спальни и посадили в кресло, обложив со всех сторон подушками. Это было всегдашнее его место, и все медленно вращались по квартире, немного выпивая и шумно разговаривая. На столе стояли случайные приношения: таял огромный ореховый торт и плавилось мороженое. Было больше похоже на вернисаж, чем на покой умирающего.

Отец Виктор как будто растерялся на мгновение. Но Нина быстро подхватила его под оттопыренный локоток, на котором все лежала кепочка, и усадила возле стола.

— Сар-цэр, тэ-бэ так хочется по-коя... — нед

Людмила Улицкая

Шмуль сладким голосом, отчасти заглушая парагвайские дудки и барабанчики, без устали паяривающие внизу, под окнами.

Файка тискала длинную вялую куклу, изображающую Алика. Эту пророческую куклу когда-то подарила ему на день рождения приятельница Аника Кроп, проживающая ныне в Государстве Израиль. Алик подавал за куклу реплики:

— Ой, не жмите мене так горячо! Ой, Фая, скажите мне, только честно, как перед богом: вы кушали чеснок?

Священник улыбнулся, взял у Файки из рук куклу, потряс ее розовую руку и сказал:

— Таки приятно с вами познакомиться.

Все засмеялись, он бросил куклу на колени к Фаине.

Нинка кивнула — Шмуль тут же замолк, Либби легко выпул Алика из кресла и отнес, как ребенка, в спальню.

Присажая москвичка дернулась: смотреть на это было тяжело. Вообще, пока Алик лежал или сидел, все было довольно обыкновенно: больной человек в кругу друзей, но вот переход его из одного положения в другое сразу напоминал о том, что происходит что-то ужасное. Живые, ясные глаза и мертвое тело... А в начале весны он еще сам перематывался из спальни в мастерскую...

Алика уложили в спальне, отец Виктор зашел туда. Нинка, немного потоптавшись в дверях, вы-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

скользнула из спальни и села на пол снаружи, при-
сложившись спиной к двери. Вид у нее был стерегу-
щий и отрешенный. Она была вполъясна, но дер-
жалась.

«Как глупо и нелепо, — думал Алик. — Симпа-
тичный, кажется, человек, напрасно я поддался...»

Отец Виктор сел на скамеечку возле постели,
совсем близко к Алику.

— У меня есть некоторые профессиональные
трудности, — начал он неожиданно. — Видите ли,
большинство людей, с которыми я общаюсь, мои
прихожане, они совершенно уверены в том, что я
способен разрешить все их проблемы, и если я это-
го не делаю, то исключительно из педагогических
соображений. А это совершенно не так. — Он
улыбнулся редкозубой улыбкой, и Алик понял, что
и священник понимает всю глупую нелепость по-
ложения, и испытал некоторое облегчение...

Болезнь не мучила Алика болями. Он страдал
от все усиливающейся одышки и нестерпимого чув-
ства растворения себя. Вместе с весом тела, живым
мясом мышц уходила реальность жизни, и потому
ему так приятны были полуобнаженные женщины,
облеплявшие его с утра до ночи. Алик давно не ви-
дел вокруг себя новых людей, и это новое лицо с не-
чисто выбритой с одной стороны щечкой — бород-
ка у него была маленькая, на западный манер, —

Людмила Улицкая

с крапчатыми буро-зелеными глазами отпечатывалось крупно, с фотографическими подробностями.

— Нипа очень хотела, чтобы я с вами поговорил, — продолжал священник. — Она думает, что я могу крестить вас, то есть уговорить принять крещение. И я не могу отказать ей в ее просьбе.

Парагвайская музыка за окном подвывала, потрескивала, выпускала дух и снова оживала. Алик поморщился.

— Да я неверующий, отец Виктор, — грустно сказал Алик.

— Что вы! Что вы! — замахал рукой священник. — Неверующих практически не бывает. Это какой-то психологический шаблон, который вы, скорее всего, из России вывезли. Уверлю вас, неверующих не бывает. Особенно среди творческих людей. Содержание веры разное, и чем выше интеллект, тем сложнее форма веры. К тому же есть род интеллектуального целомудрия, которое не допускает прямых обсуждений, грубых высказываний. Всегда под рукой вульгарнейшие образцы религиозного примитива. А это трудно вынести...

— Это я очень хорошо понимаю, у меня своя жена в доме, — отозвался Алик.

Поп этот был ему мил своей честной серьезностью.

«И он совсем не глуп», — удивился Алик.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Нинкины восторженные междометия по адресу святого и мудрого священника давно вызывали у него раздражение, и теперь это раздражение прошло.

— А у Нины, — отец Виктор махнул рукой в сторону двери, — да вообще у большинства женщин, все идет не через голову, а через сердце. То есть через любовь. Они изумительные существа, дивные, изумительные...

— А вы женолоб, отец Виктор, как и я, — подколол его Алик. Но тот как будто не понял.

— Да, ужасный женолоб, мне почти все женщины нравятся, — признался священник. — Моя жена мне постоянно говорила, что, если бы не мой сап, я был бы допжуан.

«Какие же бывают простецы», — подумал Алик.

А священник развивал тему дальше:

— Они удивительные. Они всем готовы пожертвовать ради любви. И содержанием их жизни часто бывает любовь к мужчине, да... Такая происходит подмена. Но иногда, очень редко, я встречал несколько необыкновенно высоких случаев: соблаговолительная, алчная любовь преобразуется, и они через бытовое, через низменное приходят к самой Божественной Любви... Не перестаю поражаться. Вот и Нина ваша, я думаю, из той же породы. Я сюда вошел и сразу отметил: сколько прекрасных женщин вокруг вас, такие хорошие лица... Не оставляют вас ваши подруги... Все они мирносицы, если их покрести...

Людмила Улицкая

Он был не стар, несколько за пятьдесят, но в речи по-старомодному возвышен.

«Конечно, из первой эмиграции», — догадался Алик.

Движения священника были немного растерянными и неточными. Алику и это понравилось.

— Жалко, что мы не познакомились раньше, — сказал Алик.

— Да-да, жарко, — певнопад отозвался священник, не съехавший еще с женской темы, так его вдохновившей. — Это ведь, знаете, диссертацию написать можно — о различии в качестве веры у мужчин и женщин...

— Какая-нибудь феминистка, наверно, уже написала... Попросите, пожалуйста, отец Виктор, пусть Нина принесет нам «Маргариту». Вы любите текилу? — спросил Алик.

— Да, кажется, — неуверенно ответил священник.

Встал, приоткрыл дверь. За дверью все еще сидела Нипка с горячим вопросом в глазах.

— Алик просит «Маргариту», — сказал он Нине, и она не сразу поняла. — Две «Маргариты».

Через несколько минут Нина принесла два широких бокала и вышла, с недоумением глядя через плечо.

— Ну что же, выпьем за женщин? — с обычным добродушным схиством предложил Алик. — Вам придется меня поить.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

— Да-да, с удовольствием. — Отец Виктор стал целовко совать в рот Алику соломинку.

Он в жизни много разного повидал, но такого еще с ним не было. Умиравших он исповедовал, причащал, случалось, крестил, но текилой никогда не поил.

Бокал свой отец Виктор поставил на пол и продолжал говорить:

— Мужское содержание веры — брань. Помните почную борьбу ангела с Иаковом? Война за самого себя, подъем на следующий уровень. В этом смысле я эволюционист. Спасение — слишком утилитарная идея, не правда ли?

Алику показалось, что священник слегка окосел. Ему не было видно, что тот и не пригубил. Но сам Алик почувствовал теплоту в желудке, это было приятно — ведь ощущений вообще становилось все меньше и меньше.

— Я думаю, что преподобный Серафим Саровский именно эту борьбу за веру и называл «стяжанием Духа Святого». Да... — Он замолк и грустно задумался.

Он твердо знал, что нет у него того духовного призвания, какое было у деда...

Индийская музыка, утомившись сама от себя, смолкла. Шум теперь из окна шел хороший, человеческий.

«Как же я стал слаб», — думал Алик.

Чем-то пронял его этот простодушный и храб-

рый человек. Почему он производил впечатление храброго — об этом надо подумать... Может быть, потому, что не боится показаться смешным...

— Нишка уж очень просит меня креститься. Плачет. Она придаст этому большое значение. А по мне — пустая формальность.

— Ну что вы, что вы! Для меня ее мотивы очень убедительны. Но мне-то просто, — он смущенно развел руками, как будто ему было неловко за свои привилегии, — я-то наверняка знаю, что между нами есть Третий. — И он еще глубже смутился и заерзал на скамеечке.

Смертельная тоска напала на Алика. Не чувствовал он никакого Третьего. И вообще Третий — персонаж из анекдота. И большая мука вдруг оказалась в том, что дурища его Нишка это чувствовала и простодушный поп чувствовал, а он, Алик, не чувствовал. И отсутствие этого самого присутствия он переживал с такой остротой, с какой и присутствие переживать, кто знает, возможно ли...

— Но я готов, в конце концов, это для нее сделать. — И Алик закрыл глаза от смертельной усталости.

Отец Виктор обтер запотевшую ножку бокала о свои брюки и поставил его на столик.

— Не знаю, право, не знаю, отказать вам не могу, вы тяжело больны. Но здесь что-то не так. Позвольте мне подумать... Знаете, давайте помолимся вместе. Как можем.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Он раскрыл свой чемоданчик, вынул из него Oblachenie, надел поверх цивильной одежды подрясник, спитрахиль, медленно повязал поручи. Поцеловав, надел на себя тяжелый иерейский крест, благословение покойного деда.

Алик лежал с закрытыми глазами и не видел, как изменился отец Виктор, пересевшись, как постройнел и постарел. А священник обернулся к маленькой Владимирской Божьей Матери, плохой печати и липялого цвета, припиленной к стене, опустил свой круглый лысеющий лоб и завопил про себя: «Господи, помоги мне, помоги!»

В такие минуты он всегда чувствовал себя маленьким мальчиком на футбольном поле позади приюта для русских детей под Парижем, который держали его бабушка с дедушкой во время войны и где он провел все детство. Он как будто снова стоял на футбольном поле, внутри клетки драных веревчатых ворот, куда приткнули его, самого младшего, за пехваткой настоящего вратаря, и он, весь одеревенев, ждет великого позора, заранее зная, что не сможет удержать ни одного мяча...

8

Огромный Лева Готлиб с гуталиновой бородой почтительно вывел из лифта худого складного человека, тоже бородатого и высокого, похожего на Левино изображение, извлеченное из кривого зеркала.

Людмила Улицкая

ла: все то же, но в четыре раза уже... Ирина от смеху чуть не подавилась, но мгновенно с собой справилась. Лева сразу же напел ее в многолодетстве и попер на нее с супружеской нитопацией:

— Я же сказал, что позволю после конца субботы, а у тебя автоответчик. Хорошо еще, что я заранее записал этот адрес...

Ирина шлепнула ладонью по лбу:

— Ё-мос! Я же забыла, что это вечером. Я решила, что завтра утром!

Лева только руками развел, но тут же вспомнил о равнине, который стоял рядом — с лицом одновременно строгим и любопытствующим. По-русски он не знал ни слова.

Тинпорт стояла у стола, держа бумажную тарелку с огромным куском торта, и пристально смотрела на Готлиба. Лева ринулся на нее, как вепрь, обхватил за голову:

— Ой, мышонок! Мышонок мой!

Он поцеловал ее в маковку — выросшую девочку, которая долго прожила в его доме и он сажал ее на горшок, водил в садик и называл дочкой.

«Бессовестный, до чего же бессовестный, — думала Майка, напряженно удерживая голову в его каменных ручищах. — Я так по нему скучала тогда, а теперь плевать. Сволочи, уместенно отеталые, все до единого!» Она вильнула пемного своей гордой головой, и Лева чутко выпустил ее из пальцев.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Раввин был правильный, в потертом черном костюме какого-то вечно-старомодного покроя, в шелковой водевильной шляпе, на которую полагалось бы садиться всем вновь прибывшим. Из-под кривых полей свисали от виска отпущенные на волю несжатые полоски, самодовольно-пышные и нежелающие лежать виштом. Он улыбнулся в черно-белую маскарадную бороду и произнес: «Good evening».

— Реб Менаше, — представил Лева раввина. — Из Израиля.

Именно в эту минуту открылась дверь из спальни и к гостям шагнул вспотевший, розовый, со звездчатыми, яркими глазами отец Виктор в подрыснике. Нина кинулась к нему:

— Ну что?

— За мной дело не станет, Нина. Я приеду... Давайте так: почитайте ему Евангелие.



— Да читал он, читал. Я думала, прямо сейчас, — огорчилась Нипка. Она привыкла, чтобы все ее желания быстро выполнялись.

— Сейчас он просит еще одну «Маргариту», — смущенно улыбнулся отец Виктор.

Увидев священника, Лева крепко вцепился в Ирипу руку повыше запястья:

— Как это понять? Это что, шутки у тебя такие?

Ирина узнала его яростный взгляд и мгновени-

ем раньше самого Левы почувствовала его вепх-пувшее желание. Она отчетливо вспомнила, что самая лучшая любовь с ним получалась, если раззадорить его сперва мелкой ссорой или обидой.

— Да никакис не шутки, Левочка. — Она миролюбиво смотрела ему в глаза, сдерживая улыбку и хулиганское желание немедленно положить руку ему на гульфик.

Ненавидя себя за постыдную страсть, краснея лицом и разворачиваясь к ней боком, он все больше распалялся:

— Сколько раз я себе говорил: нельзя с тобой связываться! Всегда получается цирк какой-то! — шипел он сквозь дрожащую от злости бороду.

Это была неправда. Дело было только в том, что она странно уязвила его своим уходом и он сильно докучал с супружескими обязанностями своей вечно усталой жене, понапрасну надеясь выколотить из нее Иркину музыку, которой в жене, сколько ее ни триси, не бывало.

— Не баба, а крапивная лихорадка, — фыркнул Лева.

Рсб Менаше вопросительно смотрел на Леву. Он не знал русского, не знал и русской эмиграции, хотя евреев из России было теперь в Израиле полно, но не в Цфате, где он жил. Там иммигранты почти не селились.

Он был сабра, и родным языком его был иврит. Читал он по-арамейски, по-арабски и по-испански,

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

изучал иудео-исламскую культуру времен халифата. По-английски говорил свободно, но с сильным акцентом. Теперь он вслушивался в звуки их мягкой речи, и они казались ему чрезвычайно приятными.

Мужественная Нишка предстала перед двумя бородами, схватила раввина за обе руки и, встряхивая своими светящимися волосами, сказала ему по-русски:

— Спасибо, что вы пришли. Мой муж очень хочет с вами поговорить.

Лева перевел на иврит. Раввин кивнул бородой и ответил Леве, указывая глазами на отца Виктора, снимающего подтяжки:

— Меня удивляет, какие в Америке проворные священники. Не успел еврей пригласить раввина, а он уже здесь.

Отец Виктор издали улыбнулся коллеге по дружественной религии — его доброжелательность была неразборчивой и совершенно беспринципной. К тому же в молодости он прожил больше года в Палестине и понимал язык настолько, чтобы подать уместную реплику:

— Я тоже из числа приглашенных.

Реб Менаше и бровью не повел — не понял или не расслышал.

Валентина тем временем сушила в руки отцу Виктору бокал с мутным желтым напитком, и он осторожно хлебнул.

Людмила Улицкая

Реб Менаше привычно отводил глаза от голых рук и пог, мужских и жепских, как делал это и у себя в Цфате, когда гогочущие иностранные туристы высыпали из экскурсионных автобусов на камни его святого города, гнездилище высокого духа мистиков и каббалистов. Двадцать лет тому назад он отвернулся от всего этого и никогда об этом не пожалел. Жена его Геула, посившая теперь десятого ребенка, никогда перед ним не обнажалась так бесстыдно, как любая из здесь присутствующих женщин.

«Барух ата Адонай...» — привычно начал он про себя благословение, смысл которого сводился к благодарности Всевышнему, создавшему его сврсем.

— Может быть, вы сначала закусите? — предложила Нина.

Лева произвел руками жест, обозначающий одновременно испуг, благодарность и отказ.



Алик лежал с закрытыми глазами. На матовом черном фоне, на изнанке век извивались яркие желто-зеленые нити, образуя ритмичные орнаменты, подвижные и осмысленные, но Алик, пристально изучивший в свое время древнюю азбуку ковров, все никак не мог уловить основных элементов, из которых складывался этот подвижный узор.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

— Алик, к тебе пришли. — Нина подняла его голову, провела влажным полотенцем по шее, протерла грудь. Потом стянула с него оранжевую простыню, помахала над его плоским голым телом, и реб Менаше еще раз удивился всеобщему американскому бесстыдству.

Похоже, они вообще не понимают, что такое нагота. И он по привычке устремился мыслью к первоисточнику, где впервые было произнесено это слово.

«Оба были наги и не стыдились». Вторая глава Берешит. Где же находятся эти дети? Отчего они не стыдятся? Они не выглядели порочными. Скорее, они казались невинными... Или мы разучились читать Книгу... Или Книга написана для других людей, способных ее иначе читать?

Нина приподняла колени Алика и соединила их, но поги пеловко завалились.

— Оставь, оставь, — все еще не открывая глаз и досматривая последний виток орнамента, сказал Алик.

Нина подсунула подушки под его колени.

— Спасибо, Ниночка, спасибо, — отозвался он и открыл глаза.

Высокий худой человек в черном, склонив голову набок, так что поле черной блестящей шляпы едва не касалось левого плеча, стоял перед ним с выжидательным видом.

— Do you speak English, don't you?

Людмила Улицкая

— I do, — улыбнулся Алик и подмигнул Нице.

Она вышла, следом за ней вышел и Лева.

Раввин сел на скамеечку, еще хранящую тепло священнических ягодич, поместил с некоторым колебанием свою пыльную шляпу на край Аликовой постели. Он сложился пополам, борода его лежала на острых коленях. Огромные ступни в потертых туфлях на резиночках, без шнурков, стояли носок к носку, пятками врозь. Он был серьезен и сосредоточен, пружинистый купол черных с проседью волос покрывала на макушке маленькая черная кепка, припорошенная невидимкой.

— Дело в том, раббай, что я умираю, — сказал Алик.

Раввин покашлял и пошевелил длинными сцепленными пальцами. У него не было специального интереса к смерти.

— Понимаете, моя жена христианка и хочет, чтобы я крестился. Принял христианство, — пояснил Алик и замолчал. Говорить ему было все труднее. И вообще он уже не был рад всей этой затее.

Раввин тоже молчал, поглаживая собственные пальцы, а после паузы спросил:

— И как эта глупость пришла вам в голову? — Он не вполне уместно употребил английское выражение, обозначающее глупость иного рода, но уточнил свою мысль, добавив: — Абсурд.

— Абсурд для эллинов. А разве для иудеев не соблазн? — Изящество и быстрота реакции не по-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

кидали Алика, несмотря на тупое одеревенение, которое он уже почти перестал ощущать телом, но чувствовал в последние дни лицом.

— А почему вы думаете, что раввин должен знать тексты вашего апостола? — блеснул светлыми и радостными глазами Менаше.

— А разве может быть что-нибудь такое, чего не знает раввин? — отбил Алик.

И они задавали друг другу вопросы, не получая ответов, как в еврейском анекдоте, но понимали друг друга гораздо лучше, чем, в сущности, должны были бы. У них не было ничего общего ни в воспитании, ни в жизненном опыте. Они ели разную пищу, говорили на разных языках, читали разные книги. Оба они были образованными людьми, но сферы их общих знаний почти не пересекались. Алик ничего не знал ни о каламе — мусульманском спекулятивном богословии, которым скрупулезно занимался реб Менаше уже двадцать лет, ни о Саадии Гаоне, труды которого без устали комментировал реб Менаше все эти годы, а реб Менаше слыхом не слыхивал ни о Малевиче, ни о де Кирико...

— А что, кроме раввина, уже не с кем и посоветоваться? — с горделивой и юмористической скромностью спросил реб Менаше.

— А почему еврей перед смертью не может посоветоваться именно с раввином?

В этом шутилом разговоре все было глубже поверхности, и оба понимали это и, задавая дурацкие

Людмила Улицкая

вопросы, подбиралась к тому важному, что происходит в общении между людьми, — к прикосновению, оставляющему нестираемый след.

— Жалко жену. Плачет. Что мне делать, раб-бай? — вздохнул Алик.

Раввин убрал улыбку, пришла его минута.

— Айлик! — Он потер переносицу, пошевелил огромными туфлями. — Айлик! Я почти безвыездно живу в Израиле. Я первый раз приехал в Америку. Я здесь три месяца. Я потрясен. Я занимаюсь философией. Еврейской философией, и это совсем особое дело. У еврея всегда в основе лежит Тора. Если он не изучает Тору, он не еврей. У нас в древности было такое понятие — «пленные дети». Если еврейские дети попали в плен и были лишены Торы, еврейского образа жизни, воспитания и образования, то они не виноваты в этом несчастье. Они даже могут этого не осознавать. Но еврейский мир обязан брать на себя заботу об этих сиротах, даже если они в преклонных годах.

Здесь, в Америке, я увидел целый мир, который весь состоит из «пленных детей». Целые миллионы евреев в плену у язычников. История евреев не знала таких времен никогда. Всегда были отступники и насильно крещенные, и «пленные дети» были не только во времена Вавилона. Но сейчас, в двадцатом веке, «пленных детей» стало больше, чем настоящих евреев. Это процесс. А если это процесс, то в нем есть воля Всевышнего... И об этом я думаю все это время. И буду еще долго думать.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

А вы говорите — крещение! То есть из категории «пленных детей» перейти в категорию отступников? С другой стороны, вас и отступником назвать нельзя, потому что, строго говоря, вы и не являетесь евреем. И второе хуже первого, вот что бы я сказал... Но скажу еще, опять с другой стороны: в сущности, у меня никогда не было выбора...

«Как интересно, и у этого тоже не было выбора... Отчего же у меня было выборов — хоть жопой сись?» — подумал Алик.

— Я родился евреем, — Менаше трихнул своими пышными пейсами, — я был им от самого начала и буду до конца. Мне нетрудно. У вас есть выбор. Вы можете быть никем, что в моем понимании значит быть язычником, а могли бы стать евреем, к чему у вас есть большое основание — кровь. А можете стать христианином, то есть, по моему разумению, подобрать кусок, упавший с еврейского стола. И даже не буду говорить, хорош этот кусок или плох, скажу только, что приправа, которую история приложила к этому куску, была очень сомнительной... Но уж если говорить вполне откровенно — не есть ли христианская идея жертвоприношения Христа, понимаемого как ипостась Всевышнего, самой большой победой язычников?

Он пожевал красную губу, еще раз внимательно посмотрел на Алика и закончил:

— По моему мнению, пусть вы лучше останетесь «пленным»... Уверю вас, есть вещи, кото-

Людмила Улицкая

рые решают мужа, а не жены. Ничего другого не могу вам сказать...

Реб Менане встал с неудобной скамеечки и вдруг почувствовал головокружение. Он склонился над Аликом со всей высоты своего роста и стал прощаться:

— Вы устали, я вижу. Вы отдыхайте...

И он забормотал какие-то слова, которых Алик уже не разобрал. Они были на другом языке.

— Реб Менане, подождите, я бы хотел с вами выпить на прощание, — остановил его Алик.

Либи и Руди вынесли Алика в мастерскую и усадили, вернее сказать, поместили его в кресло.

«Расслабленный, — подумал отец Виктор. — Как близко чудо. Завопить. Разобрать кровлю. Господи, почему у нас не получается?»

Особенно печально было оттого, что он знал, почему...

Лева хотел немедленно увести раввина. Но подошла Нинка, предложила стакан.

Лева решительно отказался, но раввин что-то сказал ему, и Лева спросил у Нины:

— А есть у вас водка и бумажные стаканчики?

— Есть, — удивилась Нина.

— Налейте в бумажные, — попросил он.

С улицы несло музыкой, как несет помойкой. К тому же была жара. Эта не спадающая и ночью нью-йоркская жара усиливалась к вечеру возбужде-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

ние, и многие мучились бессонницей в эту погоду, особенно новые люди, несущие в своих телах привычку к другому температурному режиму. К раввину это тоже относилось: хотя он и привык к жаре и отлично ее переносил, но в Израиле, по крайней мере там, где он жил последние годы, дневная жара сменялась ночью прохладой и люди успевали за ночь отдохнуть от дневного солнечного гнета.

Нипка принесла два бумажных стаканчика и передала их бородачам.

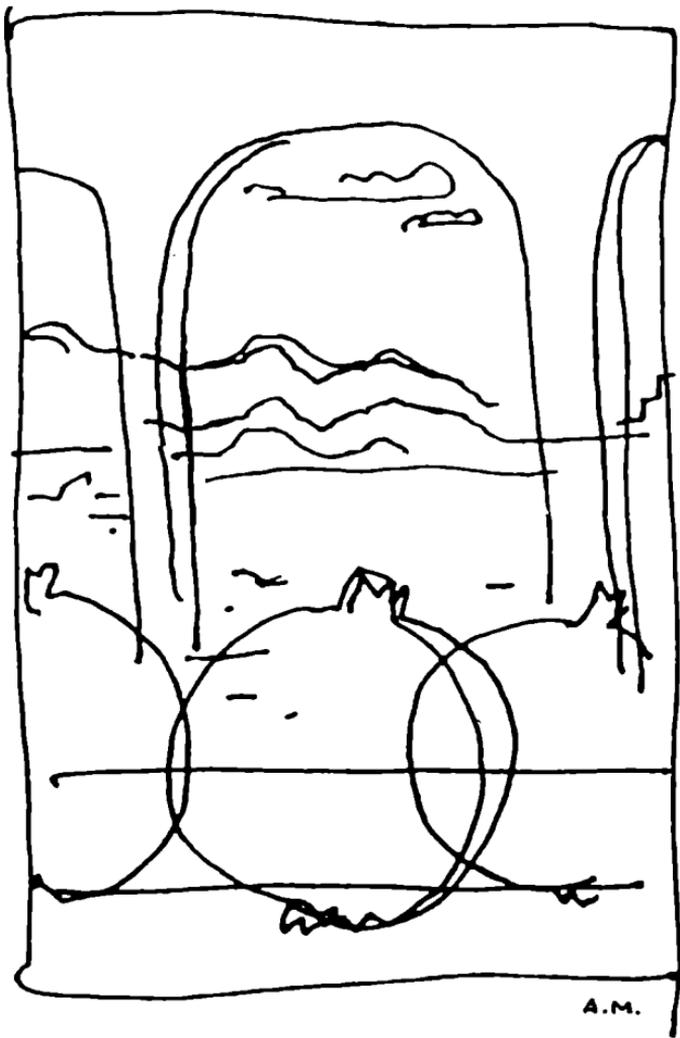
— Сейчас я отвезу вас в университет, — сказал Лева раввину.

— Я не тороплюсь, — ответил он, вспомнив о душевой комнатке в общежитии и о многочасовом ожидании зыбкого сна.

Алик был распластан в кресле, а вокруг него орали, смеялись и выпивали его друзья, все как будто сами по себе, но все были обращены к нему, и он это чувствовал. Он наслаждался обыденностью жизни, и, ловец, гонящийся всю жизнь за миражами формы и цвета, он знал сейчас, что не было у него в жизни ничего лучше этих бессмысленных застолий, когда пришедшие к нему в дом люди объединялись вином, весельем и добрым отношением в этой самой мастерской, где и стола-то настоящего не было — клали ободранную столешницу на козлы...

Лева с раввином сидели в патках креслах. В те годы, когда Алик здесь обживался, помойки в окру-

Людмила Улицкая



ге были отменными: кресла, стулья, диванчик — все было оттуда. Напротив Левы и Менаше висела большая Аликова картина. Это была Горница Тайной Вечери, с тройным окном и столом, покрытым белой скатертью. Никого не было вокруг стола, зато на столе — двенадцать крупных гранатов, подробно написанных, шершавых, с тонкими переливами лилового, багрового, розового, с гипертрофированными зубчатыми коронами, живыми вмятинами, отражающими их внутреннее перегородчатое устройство, полное зерен. В тройном окне лежала Святая Земля. Такая, какой она была сегодня, а не в воображении Леонардо да Винчи.

Не любитель и не знаток живописи, равнин уставился на картину. Сначала он увидел гранатовые яблоки. Это был давний спор, какой именно плод соблазнил Хаву. Яблоко, гранат или персик. Помещение, изображенное на картине, он тоже знал. Эта так называемая Горница была расположена как раз над гробом Давидовым, в Старом Городе.

«Все-таки в нем говорит чисто еврейское целомудрие, — решил он, глядя на картину. — Людей он заменил гранатами. Вот в чем фокус. Бедняга...» — с грустью подумал он.

Он был настоящий израильтянин, родился на второй день после провозглашения государства. Дед был сионист, организатор одной из первых сельско-

Людмила Улицкая

хозяйственных колоний, отец жил Хаганой, и сам он успел и повоевать, и землю покопать. Родился он под стенами Старого Города, у мельницы Монтефиори, и первый вид из окна, который он помнит, был вид на Сионские Ворота.

Ему было двадцать лет, когда он впервые, велед за танками, вошел внутрь этих стен. Еще нахло огнем и железом. Он облазил весь Старый Город, исследовал всю путаницу арабских улиц, все крыши христианского и армянского кварталов. Христианские святыни Иерусалима казались ему сомнительными, как и большая часть иудейских. Горница Тайной Вечери вызывала особое недоверие: не могла быть назначена эта тайная пасхальная встреча над костями Великого Царя. Впрочем, гробница Давида тоже не вызывала доверия... Весь этот удивительный мир из слабого белого камня, зыбкого света и горячего воздуха, который он так любил, был полон исторических и археологических несуразностей, в отличие от мира книжной премудрости, организованного с кристаллической точностью, без зазоров и приблизительностей, с разумным восхождением снизу вверх и парадоксальными, большой красоты логическими петлями...

Что значит для него эта земля, он понял впервые, покинув Израиль. Он был тогда молод, окончил университет, и его направили в Германию изучать философию. После года пристальных и вполне успешных занятий он полностью утратил интерес к

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

европейской философии, оторванной от той жизненной основы, которую он признавал исключительно за Торой. Так окончился недолгий срок его академического образования, и на половине третьего десятилетия своей жизни он встал на традиционный путь иудейской науки, которая и была, собственно говоря, богословием.

Тогда же он и женился на молчаливой девушке, обрившей могучие рыжие кудри накануне свадьбы. С тех пор он наслаждался гармонией, рождавшейся из сочетания выверенного до часовой точности во всех деталях быта и огромной интеллектуальной нагрузки учителя и ученика одновременно.

Мир его совершенно изменился: информация, получаемая большинством людей через радио, телевидение, светскую печать, полностью ушла от него, а взамен этого он получил пинцу «Шу:хан Арух» — стола, накрытого для желающих получить еврейское духовное наследие, да детский многоголосый писк.

Через пять лет вышла его первая книга, исследовавшая стилистические различия между комментариями Саадии к Даниилу и к Хроникам, а еще через два года он переселился в Цфат.

Мир его был библейски прост и талмудически сложен, но все грани совпадали, а ежедневная работа со средневековыми текстами придавала текущему времени оттенок вечного. Внизу, под горой, синел Киншерет, и именно здесь он обрел глубокое

Людмила Улицкая

чувство благодарности Всевышнему — христианин, несомненно, назвал бы его фарисейским — за вынавленную ему счастливую долю служения и познания, за святость его земли, которая многим представляется всего лишь грязным и провинциальным восточным государством, а для него была несомненным средоточием мира, по отношению к которой все прочие государства с их историями и культурами читались только как комментарий...

Через толпу гостей к нему пробирался спявший подряник священник.

— Мне сказали, что вы приехали сюда из Израиля с курсом лекций по иудаике? — спросил он на школьном английском языке.

Менаше встал. Он никогда еще не общался со священниками.

— Да, я преподаю сейчас в еврейском университете. Курс лекций по иудео-исламской культуре.

— Там бывают замечательные лекции. Я как-то читал книгу, курс лекций по библейской археологии, изданную этим университетом, — радостно заулыбался священник. — А ваша иудео-исламская тема в контексте современного мира читается, вероятно, очень хитрым перевертышем?

— Перевертышем? — не сразу понял реб Менаше. — Нет-нет, меня не интересуют политические

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

параллели, я занимаюсь философией, — заволновался раввин.

Алик подозвал к себе Валентину:

— Валентина, ты присмотри за ними, чтоб трезвыми не остались.

Валентина, розовая и толстая, присела, прижимая к груди, три бумажных стаканчика и поставила их перед Левой.

Выпили дружно, на троих, и через минуту их головы сблизились, они кивали бородами, качали головами и жестикулировали, а Алик, странно довольный, указывая на них глазами, сказал Либину:

— По-моему, я сегодня очень удачно выступил в роли Саладина...

Валентина поискала глазами Либина и кивнула в сторону кухни. Через минуту она теснила его в угол:

— Я не могу ее спросить, спроси ты...

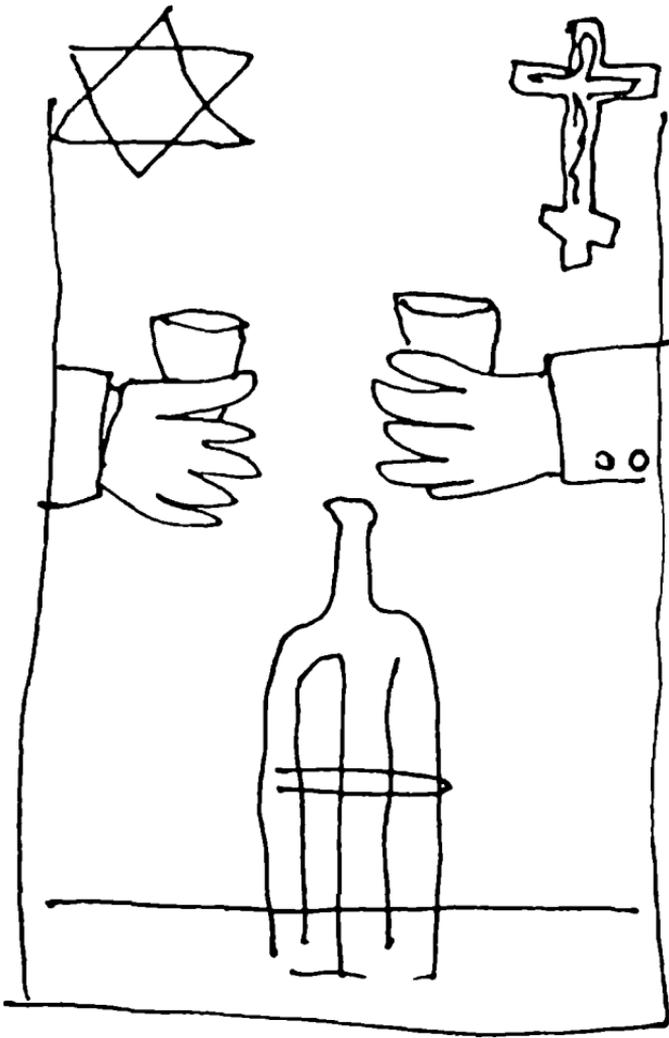
— Ну да, ты не можешь, а я могу... — обиделся Либин.

— Ладно тебе. Надо срочно хотя бы за один месяц заплатить...

— Так недавно же собирали...

— Ну да, недавно, месяц назад, — пожала плечами Валентина, — мне что, больше всех нужно? Телефон я в прошлом месяце оплатила, один меж-

Людмила Улицкая



дугородние, Нинка много разговаривает, как па-
нетсяя...

— Она же недавно давала... — заметил Либин.

— Ну хорошо, спроси у кого-нибудь еще. Мо-
жет, у Файки?

Либин засмеялся: Файка была в долгах как в
шелках, и не было здесь ни одного человека, кото-
рому она не была должна хоть десятку. Либину ни-
чего не оставалось, как идти к Ирине.

С деньгами было не то что плохо — катастрофа.
Алик в последние годы перед болезнью плохо про-
давался, а теперь, когда он и работать перестал, и
бегать по галерейщикам не мог, доход был просто
нулевой, а вернее сказать, ниже нуля. Долги росли.
И те, которые необходимо было отдавать, вроде
счетов за квартиру и телефон, и те, медицинские,
которые не будут отданы никогда.

Была еще одна неприятнейшая история, кото-
рая тянулась уже несколько лет: два галерейщика
из Вашингтона, делавшие Алику выставку, не отда-
вали двенадцать живописных работ. Алик был от-
части сам в этом виноват. Если бы он приехал в
день закрытия выставки, как было уговорено, и сам
все забрал, этого не случилось бы. Но поскольку он,
празднуя заранее продажу трех работ с этой вы-
ставки — о чем ему сообщили галерейщики, —
одолжил денег и поехал с Нинкой на Ямайку, то и
не попал к закрытию. Когда вернулся, тоже не сра-
зу собрался. Однако чек за проданные работы поче-

Людмила Улицкая

му-то не пришел, и он позвонил в Вашингтон узнать, в чем дело. Ему сказали, что работы вернулись и вообще — где он пронадаст, им пришлось сдать его работы на хранение, так как в галерее нет места. Это было чистое вранье.

Алик попросил Ирину помочь. Выяснилось еще одно обстоятельство: Алик, подписывая контракт, оставил у галерейщиков копию, и теперь они, пользуясь его оплошностью, вели себя очень пахально, и Ирина почти ничего в этой ситуации не могла сделать. Единственный ее козырь — каталог галереи с объявлением о выставке и репродукция в нем одной из картин. Как раз той, которую они объявляли проданной. Ирина завела против них дело, а пока эта история тянулась, крикнув, выложила Алику чек на пять тысяч своих денег. Сказала, что выбила. Она и впрямь не оставляла надежды получить эти деньги.

Было это в начале прошлой зимы. Когда она принесла чек, Алик странно обрадовался:

— Нет слов. Просто нет слов. Сейчас уплатим ренту и купим наконец Нипке шубу.

Ирина взвилась — не на шубу она давала свои кровные. Но делать было нечего, половина денег ушла на шубу: такие уж были привычки у Алика с Нипкой. Дешевки они не любили.

«Чертова богема, — негодовала Ирина, — видно, они здесь говна мало похлебали...»

Выдохнув из себя горячий воздух, решила, что

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

помогать будет, но небольшими суммами, по мере минутной необходимости. В конце концов, она одинокая баба с ребенком. И не такая уж богатая, как они думают. Не говоря о том, как трудно эти деньги выгрызать...

Когда Либби к ней подошел, она уже доставала чековую книжку. Маленькие суммы росли, как маленькие детки, — совершенно незаметно...

9

Бородатые мужи вышли на улицу. Готлиб совсем не ощущал себя пьяным, но начисто забыл, где поставил машину. Там, где он ожидал ее увидеть, стоял чужой длиннозадый «Понтиак».

— Утащили, утащили! — по-детски, совершенно беззлобно засмеялся отец Виктор.

— Да здесь можно ставить, почему это утащили? — рассердился Готлиб. — Вы стойте здесь, я за углом посмотрю.

Раввин не проявлял никакого интереса к тому, на какой машине его отвезут, — ему гораздо интереснее было то, что говорил этот смелый человек в кепочке.

— Так вот, я, с вашего позволения, продолжу, — торопился отец Виктор поделиться своими мыслями с исключительным собеседником. — Пер-

Людмила Улицкая

вый эксперимент, можно сказать, прошел удачно. Диаспора оказалась исключительно полезна для всего мира. Конечно, вы собрали свой остаток у себя там. Но сколько евреев растворилось, ассимилировалось, сколько их в науке и в культуре во всех странах. Я ведь в некотором смысле юдофил. Впрочем, каждый нормальный христианин почитает избранный народ. И понимает, это чрезвычайно важно, что евреи вливают свою драгоценную кровь во все культуры, во все народы, и по этому образцу происходит что? Мировой процесс! И русские выпили из своего гетто, и китайцы. Обратите внимание: эти молодые американские китайцы — среди них лучшие математики и музыканты великопные... Идем дальше — смешанные браки! Вы понимаете, что я имею в виду? Идет созидание нового народа!

Раввин, кажется, прекрасно понимал, что имеет в виду оппонент, но совершенно не одобрял его идей и мелко жевал губами.

«Три стакачика или четыре стакачика?» — пытался он припомнить. Но сколько бы ни было, явно много...

— Вот они, новые времена: ни иудея, ни элиана, и в самом прямом, в самом прямом смысле тоже... — радовался священник.

Раввин остановился, пригрозил ему пальцем:

— Вот-вот, для вас самое главное — чтоб ни иудея...

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Подъехал Готлиб, открыл дверцу, усадил своего раввина и в высшей степени невежливо оставил на улице одинокого отца Виктора в сильном огорчении:

— Ишь как выкрутил, да я же совсем этого в виду не имел...

10

Гости не то чтобы разошлись, а, скорее, рассосались. Кто-то остался почевать на коврик. Тут же, на коврик, спала и Нинка. Эта ночь была Валентинина. Алик сразу после ухода гостей уснул, и Валентина притулилась у него в ногах. Она могла бы и поспать, но сон, как пазло, не шел. Она давно уже заметила, что алкоголь стал действовать в последнее время странным образом: вышибал сон.

Валентина прилетела в Америку в ноябре восемьдесят первого. Ей было двадцать восемь лет, росту в ней было 165, весу 85 килограммов. Тогда она еще на фигуру не мерилась. На ней была черная гуцульская куртка ручного тканья, с шерстяной вышивкой. В матерчатом клетчатом чемодане лежала незащищенная диссертация, которая никогда ей не пригодилась, полный комплект праздничной одежды вологодской крестьянки конца девятнадцатого века и три антоповских яблока, запрещенных к ввозу. Их мощный запах пробивал хилый чемодан. Яблоки предназначались имеющемуся у нее мужу-американцу, который ее почему-то не встретил.

Людмила Улицкая

Неделю назад, взяв билет в Нью-Йорк, она позвонила ему и сообщила, что приезжает. Он как будто обрадовался и обещал встретиться. Брак их был фиктивным, но друзья они были настоящие. Мики прожил в России год, собирая материалы по советскому кино тридцатых годов и невзраченчески переживая тяжелый роман с маленьким чудовищем, которое его унижало, обирало и подвергало мукам ревности.

С Валентиной он познакомился на модной филологической школе. Она приютила его у себя, отпоила валерьянкой, накормила пельменями и в конце концов приняла сокрушительную исповедь гомосексуалиста, подавленного неборимостью собственной природы. Высокорословый и чахлый Мики плакал и изливал на Валентину свое горе, одновременно делая психоаналитический самокомментарий. Валентина долго и сочувственно дивилась прихотливости природы и, найдя небольшую паузу в двухчасовом монологе, задала прямой вопрос:

— А что, с женщинами ты никогда?..

Оказалось, что и здесь было не просто, какая-то семнадцатилетняя кузина, гостившая полтора месяца у них дома, затерзала его, тогда сорокадвухлетнего, своими ласками и уехала обратно в свой Коннектикут, оставив его в состоянии изнурительной девственности и несмываемой греховности.

История выглядела слишком уж литературной, и к концу этого пространного и эмоционального

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

рассказа, изобилующего крупноплановыми деталями, усталая Валентина уложила обе его тонкие ладони на плотные фирики своих незаурядных сосков и без особого труда совершила над ним насилье, приведшее его, впрочем, к полному удовлетворению.

Это событие так и осталось единичным в Микиной биографии, по отношению их с того времени приобрели оттенок необыкновенной дружеской близости.

Валентина переживала в ту пору свой собственный крах: ошеломляюще подлую измену любимого человека. Он был известным диссидентом, успел даже посидеть, ходил в героях и слыл безукоризненно честным и мужественным. Но, видимо, шов у него проходил как раз между верхней и нижней половиной: верх был высококачественный, а низ сильно подпорченный. До баб он был жадеп, неразборчив и умел всеми ими хорошо пользоваться. Отъезд его был оплакан многими красотками-подругами самой антисоветской ориентации, и парочка-тройка внебрачных детей обречена была держаться всю жизнь красивой легенды об отце-молодце.

В результате он уехал из России героем, женившись на красавице итальянке, к тому же и богатой, а Валентина осталась с гэбэшным хвостом и незащищенной диссертацией.

Вот тут-то великодушный Мики и предложил

Людмила Улицкая

ей фиктивный брак, который они и заключили. Они поженились и, чтобы соблюсти некоторый декорум, устроили даже свадьбу в Калуге, у Валентиновой мамыши, которая со дня свадьбы примирилась с дочерью, хотя жених ей и не понравился, назвала его «глистопером». Однако обаяние американского паспорта действовало даже на нее. В типографии, где она всю жизнь проработала уборщицей, никто еще своих дочерей в Америку не выдавал.

Прождав мужа два часа в аэропорту Кеннеди, Валентина позвонила ему домой, но никто не ответил. Тогда она решила ехать по тому адресу, который он дал ей еще в России. Адрес, предъявленный ею нескольким доброжелательным американцам, оказался не нью-йоркским, а пригородным. Английский язык Валентина знала через пень-колоду, она была слависткой. С горем пополам разобравшись, она поехала по указанному адресу.

Чувство полной нереальности происходящего освобождало ее от обычных человеческих тревог. Будущее, каким бы оно ни было, все равно казалось ей лучше прошлого — позади все было слишком уж поганю. С этими легкими мыслями она села в автобус. Денег с нее почему-то не взяли, а она не сразу поняла, что в этой ситуации обозначает слово «free». А когда поняла, что проезд бесплатный, обрадовалась. При ней было пятьдесят долларов, и она понимала, что этого в любом случае долж-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

по хватить, чтобы добраться до безответственного мужа.

На закате дня, после многих маленьких приключений и огромных дорожных впечатлений, она вышла в Территаун, вдохнула вечерний воздух и села на желтую лавочку на перроне. Она не спала более полутора суток, все вокруг как будто слегка двигалось, и голова кружилась от полной неопределенности и невесомости.

Посидев минут десять, она подхватила свой чемоданишко и вышла на небольшую площадь, всю заставленную машинами. Она спросила у молодого человека, который возился с замком автомобиля, как найти нужную ей улицу, и он, ничего не говоря, распахнул вторую дверку и довез ее до красивого двухэтажного дома, расположенного на горке, в кайме выхоленных кустов. Начинало смеркаться. Она остановилась перед легкими воротцами из хлипких белых планок.

Рейчел, мать Мики, с утра была озабочена чудесным сном, приснившимся ей под утро: как будто она нашла в белой беседке, которой на самом деле не было в их саду, милую пухленькую девочку и эта девочка с ней говорила о чем-то важном и очень приятном, хотя она была совсем крошка и в жизни такие маленькие дети еще не разговаривают. Но что именно она говорила, Рейчел не могла вспомнить.

Днем, когда она прилегла отдохнуть, она пыта-

Людмила Улицкая

лась вызвать в памяти эту сквозную беседку, эту пухлую девочку, чтобы та снова ей приснилась и сказала бы то важное, чего недоговорила в предутреннее время. Но девочка больше не появилась, да и вообще ждать было нечего, днем Рейчел сна не спилась.

Теперь она шла к воротцам, темного вперевалку, престолиция еврейка с круглыми, в кольцах давней бессонницы глазами, и рассматривала стоящую за воротами женщину с чемоданчиком.

— Добрый день! Могу ли я видеть Мики? — спросила женщина.

— Мики? — удивилась Рейчел. — Он здесь не живет. Он живет в Нью-Йорке. Но вчера он уехал в Калифорнию...

Валентина поставила чемодан на землю:

— Как странно. Он обещал меня встретить, но не встретил.

— А! Это Мики! — махнула рукой Рейчел. — Откуда вы?

— Из Москвы.

Валентина стояла на фоне белых ворот, и Рейчел вдруг догадалась, что эта белая беседка во сне была не беседка, а эти самые ворота, и пухленькая девочка — эта самая женщина, тоже пухленькая...

— Бог мой! А мои родители из Варшавы! — радостно воскликнула она, как будто Варшава и Москва были соседними улицами. — Заходите, заходите!

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Через несколько минут Валентина сидела за низким столиком в гостиной, глядя в окно на убегающий вниз сад, все деревья которого повернулись к ней лицом и смотрели из сгущающейся темноты в ярко освещенное окно.

На столе стояли две тонкие матовые чашки, такие легкие, как будто они были сделаны из бумаги, и грубый терракотовый чайник. Печенье напоминало водоросли, а орехи были трехгранными, с тонкой скорлупой и розоватого цвета. Сама Рейчел, сложив руки на животе совершенно тем же деревенским жестом, как делала это мать Валентины, с доброжелательным интересом смотрела на Валентину, склонив подбородок голову в шелковой зеленой чалме. Оказалось, что русская знает польский, и они заговорили по-польски, что доставляло Рейчел особое удовольствие.

— Вы приехали в гости или на работу? — задала Рейчел важнейший вопрос.

— Я приехала навсегда. Мики обещал меня встретить и помочь с работой, — вздохнула она.

— Вы познакомились с ним, когда он работал в Москве? — перекинув головку на другое плечо — такая у нее была смешная манера: склонять голову к плечу, — спросила Рейчел.

Валентина задумалась на мгновение, она так устала, что вести светскую беседу по-польски, да еще чуть привирая там и сям, у нее не было сил.

— Честно говоря, мы с Мики поженились...

Людмила Улицкая

Кровь бросилась Рейчел в лицо. Она выскочила из гостиной, и по всему дому разлетелся ее звонкий голос:

— Дэвид! Дэвид! Иди сюда скорее!

Дэвид, ее муж, такой же высокий и хрупкий, как Мики, в красной домашней куртке и в ермолке, стоял на верху лестницы. В руках он держал толстенную авторучку.

«В чем дело?» — говорил он всем своим видом, но молча.

Они были прекрасной парой, родители Мики. Каждый из них нашел в другом то, чего не имел в себе, и восхищался найденным. Подойдя к шестидесяти и поднявшись к возможным границам супружеской и человеческой близости, готовясь к длинной счастливой старости, оба они несколько лет тому назад с пронзительным ужасом обнаружили, что их единственный сын отказался от законов своего пола и уклонился в такую языческую мерзость, которую Рейчел не могла даже назвать словом.

— Мы были счастливы, слишком счастливы, — бормотала она бессонными ночами в своей огромной торжественной постели, в которой они с тех пор, как совершили свое ужасное открытие, ни разу больше не прикоснулись друг к другу. — Господи, верни его к обычным людям!

И она, еврейская девочка, спасенная от огня и газа монахинями, почти три года оккупации укрывавшими ее в монастыре, шла на самое крайнее,

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

обращаясь к матери того бога, в которого она не должна была верить, но верила:

— Матка боска, сделай это, верни его...

Популярная просветительская литература, доходчиво объясняющая, что с сыном ее ничего особенного не происходит, все в порядке и гуманное общество оставляет за ним полное и священное право распоряжаться своими причинадами как ему заблагорассудится, не утешала ее старомодной души.

Теперь ее муж спускался к ней по лестнице и, глядя в ее розовое, счастливое лицо, гадал, что за радость у нее приключилась.

Радость — увы! фиктивная — сидела в гостиной и таращила сами собой закрывающиеся глаза... Так начиналась Валентинина Америка...

Алик зашевелился, Валентина легко вскочила:

— Что, Алик?

— Пить.

Валентина поднесла к его рту чашку, он пригубил, закашлялся.

Валентина теребила его, постукивала по спине. Приподняла — ну совершенно как та кукла, которую сделала Анька Корн:

— Сейчас, сейчас, трубочку возьмем...

Он снова набрал в рот воды и снова закашлялся.

Людмила Улицкая

ся. Такое бывало и раньше. Валентина снова его потрясла, постучала по спине. Снова дала трубочку. Он опять начал кашлять и кашлял на этот раз долго, все никак не мог раздышаться. Тогда Валентина смочила водой кусочек салфетки и положила ему в рот. Губы были сухие, в мелкую трещинку.

— Я помажу тебе губы? — спросила она.

— Ни в коем случае. Я ненавижу жир на губах. Дай палец.

Она положила палец ему между сухих губ — он тронул палец языком, провел по нему. Это было единственное прикосновение, которое у него еще оставалось. Похоже, это была последняя ночь их любви. Оба они об этом подумали. Он сказал очень тихо:

— Умру прелюбодеем...



Валентина жила тогда трудно, как никогда. С работы она обычно ехала прямо на курсы. Но в тот день пришлось захватить домой, так как позвонила хозяйка и попросила срочно завезти ключи: что-то случилось с замком, но Валентина не поняла, что именно. Она отдала ключ хозяйке, но и этим ключом входная дверь не открывалась. Оставив хозяйку наедине со сломанным замком, Валентина, прежде чем ехать на курсы, зашла в еврейскую закусочную за углом — к Кану. Цены здесь были умеренными, а сэндвичи, с копченой говяди-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

ной и индюшатиной, превосходными. Дюжие продавцы, которым бы ворочать бетонными чушками, артистически сложили огромными ножами пахучее мясо и переговаривались на местном наречии. Народу было довольно много, у прилавка стояло несколько человек. Тот, что стоял перед Валентиной, к ней спиной, с рыжим хвостом, подхваченным резиночкой, по-приятельски обратился к продавцу:

— Послушай, Миша, я хожу сюда десять лет. И ты, Арон, тоже, вы стали за это время в два раза толще, а сэндвичи стали вдвое худей. Почему так, а?

Мельтеша голыми руками, продавец подмигнул Валентине:

— Он мне делает намеки, ты понимаешь, да?

Человек обернулся к Валентине — лицо его было смеющимся, в веснушках, весело тонорщились рыжие усы:

— Он считает, что это намек. А это не намек, а загадка жизни.

Продавец Миша нацелил на вилку один огурчик, потом второй и уложил их рядом с пышным сэндвичем на картонной тарелке:

— На тебе экстраогурчик, Алик. — И обратился к Валентине: — Он говорит, что он художник, но я-то знаю, что он из ОБХСС. Они меня и здесь достают. Пастрами?

Валентина кивнула, пока замельтешил в руках Миши. Рыжий сел за ближайший стол, там как раз

Людмила Улицкая

освободилось еще одно место, и, взяв из рук Валентины тарелку и поставив на свой столик, отодвинул ногой стул.

Валентина молча села.

— Из Москвы?

Она кивнула.

— Давно?

— Полтора месяца.

— Ага, и вид еще не обстрелянный. — Взгляд его был прямым и доброжелательным. — А чего делаешь?

— Бэби-ситтер, курсы.

— Молодец! — похвалил он. — Быстро сориентировалась.

Валентина разложила сэндвич на две половинки.

— Ты что! Ты что! Кто ж так ест! Американцы тебя не поймут. Это святое: разевай рот пошире и смотри, чтоб кетчуп не капал. — Он ловко обкусил выпирающую начинку сэндвича. — Жизнь здесь простая, законов всего несколько, но их надо знать.

— Какие законы? — спросила Валентина, послушно сложив вместе две разобранные было половинки.

— Вот этот, считай, первый. А второй — улыбайся! — И он улыбнулся с набитым ртом.

— А третий какой?

— Как тебя зовут?

— Валентина.

— Мм, — промычал он, — Валечка...

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

— Валентина, — поправила она. «Валечку» она ненавидела с детства.

— Валентина, вообще-то мы с тобой не очень хорошо знакомы, но так и быть — открою. Второй закон Ньютона здесь формулируется так: улыбайся, но жопу не подставляй...

Валентина засмеялась, кетчуп потек на ее шарф.

— А все-таки — третий.

Алик стер кетчуп.

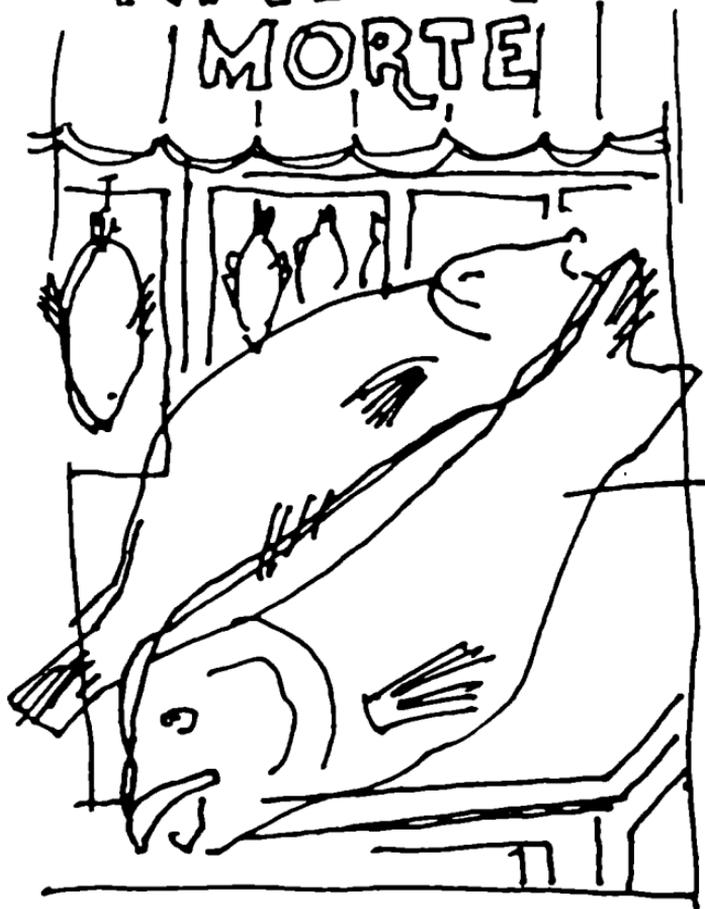
— Сначала надо первые два выучить... Эти сэндвичи лучшие в Америке. Best in America... Это точно. Этой харчевне почти сто лет. Сюда приходили Эдгар По, О'Гепри и Джек Лондон, брали здесь сэндвичи по гривеншику. Писателей этих, между прочим, американцы совершенно не знают. Ну, может, Эдгара По в школе проходят. Если бы здешний хозяин читал хоть одного из них, он непременно повесил бы портрет. Это наша американская беда: с сэндвичами все в порядке, а культурки не хватает. Хотя почти наверняка у первого Каца, я имею в виду не Адама, а здешнего хозяина, внук окончил Гарвард, а правнук учился в Сорбонне и, наверное, участвовал в студенческой революции шестьдесят восьмого...

Валентина постеснялась спросить, какую такую революцию он имеет в виду, но Алик, отложив сэндвич, продолжал:

— Огурцы бочковые. Больше таких нигде не

Людила Улицкая

NATURE MORTE



найдешь. Они сами солят. Честно говоря, я люблю, чтоб были клеклые и посопливсей. Но это тоже неплохо. По крайней мере, без уксуса... Вообще, этот город потрясающий. В нем есть все. Он город городов. Вавилонская башня. Но стоит и еще как стоит! — Он как будто не с ней говорил, а спорил с кем-то отсутствующим.

— Но он такой грязный и мрачный, и так много черных, — мягко сказала Валентина.

— Ты приехала из России, и Америка тебе грязная? Ничего себе! Да черные — черные лучшее украшение Нью-Йорка! Ты что, не любишь музыку? А что такое Америка без музыки? А это черная, черная музыка! — Он возмутился и обиделся: — И вообще, ты в этом пока ничего не понимаешь и лучше молчи.

Они закончили с едой и вышли из заведения. У дверей Алик спросил ее:

— Ты куда?

— На Вашингтон-сквер. У меня там курсы.

— Английский берешь?

— Advanced, — кивнула она.

— Я тебя провожу. Я там живу недалеко. А если подняться к Астор-плаза, а потом свернуть туда, — он махнул рукой, — там есть такое гнездышко американских панков, чудо, все в черной коже, в диком металле. С английскими ничего общего не имеют. И музыка у них — нечто особенное. А ближе к площади — старый украинский район, не так

Людмила Улицкая

уж интересно. О, там есть потрясающий ирландский паб, самый настоящий. Туда даже женщины не пускают... Хотя, кажется, уже пускают, но уборной женской нет, только писсуары... Не город, а большой уличный театр. Я уж сколько лет оторваться не могу...

Они шли по Бауэри. Он остановил ее около мрачного унылого дома, каких в этом районе большинство.

— Смотри. Это СВГВ — самое главное музыкальное место в мире. Через сто лет музыковеды будут хранить куски известки от этих стен в золотых коробочках. Здесь идет рождение новой культуры — я серьезно говорю. И Knitting Factory — то же самое. Здесь играют гении. Каждый вечер — гении.

Из обшарпанной двери выскочил черный щуплый мальчик в розово-белом пальто. Алик поздоровался с ним.

— Я же говорил! Это Буби, флейтист. Каждый вечер играет с господом богом. Я только что купил билет на его концерт. Специально приехал. Жена моя со мной не ходит, она эту музыку не любит. Хочешь, возьму тебя с собой?

— Я могу только в воскресенье, — ответила Валентина. — Все остальные дни я с восьми до одиннадцати.

— Круто забираешь, — усмехнулся Алик.

— Ну, так получилось. Я к девяти на работе, в шесть кончаю. В семь курсы — через день, а через

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

день с хозяйской вшучкой сижу. В одиннадцать освобождаюсь, в двенадцать сплю. А в три просыпаюсь — и все. У меня такая американская бессонница, черт ее знает. В три часа я как неваляшка. Пробовала позже ложиться, но все равно — в три сна нет.

— Да, концертов в такое время не бывает, но есть много мест, где жизнь идет до утра. Не все ли равно, когда начинать, можно и в три...

К этому времени Нипка была уже настоящим алкоголиком, и нужно ей было немного — за день она выпивала, по русскому счету, полбутылки водки, разбавляя ее американским соком, и к часу ночи спала мертвецким сном. Алик переносил ее из кресла в спальню, засыпал с ней рядом на несколько часов. Он сам был из породы людей мало спящих, как Наполеон.

Роман Алика с Валентиной протекал с трех до восьми. Он начался не сразу, а довольно постепенно. Прошло не менее двух месяцев, прежде чем он впервые вошел в ее низкий подвал, бейсмент по-американски, который она понимала с легкой руки Рейчел у ее приятельницы.

В неделю раза два Алик подходил в четвертом часу к Валентиному подвалу и, склонившись, свистел в слабо светящееся окно. Через десять минут Валентина выскакивала — бодрая, розовая, в черной гуцульской курточке, и они шли в одно из тех ночных мест, которые обычно неизвестны эмигрантам.

Людмила Улицкая

Однажды, в одну из самых холодных почей января, когда снег выпал и держался чуть ли не целую неделю, они попали на Рыбный рынок. Буквально в двух шагах от Уолл-стрит закипала на несколько часов невероятная жизнь. К причалу подходили суда действительно со всего мира, и рыбаки втаскивали свой живой или, как в тот раз, подмерзший товар на тележках, на спинах, в корзинах. В стенах открывались вдруг широкие двери, и складские помещения принимали всю эту морскую роскошь.

Два рослых человека несли на плечах длинное бревно — это был серебристый, успевший покрыться тонкой пленкой льда тунец. Обычные, простые, как дворняги, рыбешки тоже попадались, но глаз на них не смотрел, потому что в огромном изобилии громоздились на прилавках невиданные морские чудовища с ужасными буркалами, клешнями, присосками, состоящие, казалось, из одних пастей, и необозримое количество ракушек самого фантастического вида, внутри которых укрывался маленький кусочек жидкого мяса, и змеистые существа с такими милыми мордочками, что невольно на ум приходили русалки, и нечто промежуточное, про что невозможно было сказать, что оно — животное или растение, и самые настоящие водоросли, лианами и пластами. И вся эта тварь при белом свете фонарей переливалась синим, красным, зеленым и розовым, и некоторые еще шевелились, а другие уже заковчели.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

В проходах стояло несколько железных бочек, в них что-то жгли, и время от времени замерзшие люди подходили туда погреться. И люди были так же диковишны, как и товар, который они привезли: норвежцы с русыми заиндевевшими бородами, уса-тые китайцы и островитяне с лицами экзотически-ми и древними.

А между ними толкались покупатели-оптовики со всего Нью-Йорка и из Нью-Джерси, привлеченные хорошими ценами, владельцы и повара лучших ресторанов — за самым свежим товаром.

— Слушай, это просто как в сказке! — восхищалась Валентина, а Алик радовался, что нашел человека, который так же от этого балдсет, как и он сам.

— А я тебе что говорил! — И потащил ее в забегаловку выпить виски, потому что в такой мороз нельзя было не выпить. Там, в забегаловке, с ним, конечно же, поздоровался хозяин. — Мой приятель. Вот посмотри, — и он ткнул пальцем в стену, а там, посреди гравюр с изображениями яхт и кораблей, рядом с фотографиями незнакомых Валентине людей, висела небольшая картина, на которой были нарисованы две незначительные рыбки, одна красноватая, с колочим растопыренным плавником, а вторая серенькая, вроде селедочки. — За эту картинку Роберт обещал меня поить всю жизнь бесплатно.

И действительно, лысоватый краснорожий хо-

Людмила Улицкая



заян уже тащил им два виски. Народу здесь было множество: моряки, грузчики, торговый люд.

Место это было мужским, ни одной бабы видно не было, и мужики сосредоточенно выпивали, ели здепный рыбный суп, бедную еду. Сюда приходили не поесть, а выпить и передохнуть. А в такую погоду, конечно, и погреться. Мороз все-таки был для здешних людей непривычным, да они и не понимали, как настоящие северяне понимают, что никакого тепла не будет, если надеть меховую куртку на тонкую рубашку, в резиновые сапоги затолкать две пары синтетических носков и на банку наценить бейсбольную кепочку...

— Ну скорей, скорей, а то ты самого интересного не увидишь, — заторопил вдруг Валентину Алик.

Они вышли на улицу. За те полчаса, что они провели в забегаловке, все изменилось — и менялось на глазах со скоростью мультипликационного фильма. Прилавки очищались и куда-то исчезали, двери складских помещений закрывались и превращались в сплошные стены, исчезли бочки с веселым огнем, и со стороны причала шла гвардия высоких ребят со шлангами, и они смывали весь рыбный сор, что оставался на земле, и через пятнадцать минут Алик с Валентиной стояли чуть ли не единственные на всем этом мысу, на самой южной точке Манхэттена, а весь почной спектакль казался сном или миражем.

— Ну вот, а теперь пойдём и ещё раз выйдем, — повел её Алик в заведение, в котором тоже

Людмила Улицкая

уже никого не было, и столы сверкали чистым блеском, и даже полы заканчивал протирать молодой парень, который тоже кивнул Алику, — хозяйский сын. — И это тоже еще не все. Сейчас увидишь последний акт. Минут через пятнадцать...

А через пятнадцать минут ближе к метро вдруг выплонуло толпу элегантных мужчин и причесанных женщин, посивших на себе лучшую обувь, прекрасные деловые костюмы и духи этого сезона.

— Мать честная, они что, на прием? — изумилась Валентина.

— Это служащие с Уолл-стрит. Многие из них живут в Хобокене, тоже очень зажиточное место, я тебе покажу как-нибудь. Это парод не самый богатый, от шестидесяти до ста тысяч в год. Клерки. Белые воротнички. Самая рабская порода...

И они пошли к метро, потому что Валентине пора было ехать на работу. Она оглянулась — на месте Рыбного рынка остался только легкий запах рыбы — да и то надо было принохиваться...

Кроме Рыбного рынка, был еще Мясной и Цветочный — на нем можно было заблудиться между кадками с деревьями. Этот Цветочный открывался по почам, но днем тоже продолжался.

А возле Мясного они однажды встретили рыжеватого человека со знакомым лицом. Алики перекинулся с ним парой слов, и они прошли дальше.

— Кто это?

— Не узнала? Бродский. Он живет неподалеку.

— Живой Бродский? — изумилась Валентина.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Он действительно был вполне живой.

А еще был почной танцевальный клуб, куда ходила совсем особая публика: пожилые богатые дамы, ветхие господа, нафталиновые любители танго, фокстрота, вальса-бостона...

А иногда они просто гуляли, а потом однажды случайно поцеловались, и тогда они уже почти перестали гулять. Алик свистел с улицы, Валентина отворяла...

Потом Валентина переехала в квартиру к Мики, потому что Мики переселился на несколько лет в Калифорнию, преподавал там в знаменитой киношколе, и личная жизнь его протекала хорошо, хотя Рейчел не переставала горевать, что вместо Валентины, милой толстой Валентины с большими грудями, которыми можно было бы выкормить сколько угодно детишек, у Мики в подружках маленький испанский профессор, большой специалист по Гарсиа Лорке.

Нью-йоркская квартира Мики была в Даунтауне, Алик приходил и туда, все в то же заветное время между тремя и восемью.

Был период, когда Валентина отказала ему в почных визитах. Она в ту пору как раз переехала в Квинс, потому что ее взяли на работу в тамошний колледж преподавателем русского языка. В Квинсе у нее был другой мужчина, из России, но никто его не видел, известно было, что работает он водителем грузовика.

Сколько длился водитель в ее жизни, трудно

Людмила Улицкая

сказать, но, когда она получила, пройдя огромный конкурс, совсем настоящую американскую работу в одном из нью-йоркских университетов, водителя уже не было.

Снова был Алик, и Валентине стало ясно, что теперь уж это окончательно, что никто ни от кого никуда не денется: ни она от Алика, ни Алик от Нишки...

11

Московская инженерша, приведенная в дом, осталась почевать на коврик и немедленно присохла к дому. Утром, в самое безлюдное время, когда народ, который работал, разбежался по своим которам, а который сидел на пособии, еще глаз не разлепил, когда сама Нишка еще не стряхнула с себя своего апельсинового сна, эта невзрачная, с первого раза не запоминающаяся женщина перемыла вчерашние чашки и стаканы, а потом заглянула к Алику. Он уже проснулся.

— Я Люда из Москвы, — повторила она на всякий случай, потому что, хоть ее вчера с Аликом и познакомили, она давным-давно привыкла, что с первого раза ее никто не запоминает.

— Давно? — живо заинтересовался Алик.

— Шесть дней. А кажется, что давно. Умыться? — Она спросила так легко, как будто это и было ее главное занятие: поутру умывать больных.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

И тут же принесла мокрое полотенце, протерла лицо, шею, руки.

— Чего в Москве нового? — механически спросил Алик.

— Да все то же... По радио трескотня, магазины пустые... Чего там нового... Позавтракать? — предложила Люда.

— Ну, давай попробуем.

С едой обстояло плохо. Последние две недели он ел одно детское питание, да и эту фруктовую ерунду с трудом глотал.

— Ну, я пюре картофельное сделаю. — И она уже была на кухне, тихонько там позвякивала.

Пюре она сделала жиденьким, и оно как-то хорошо проскочило. Вообще сегодня с утра Алик чувствовал себя лучше: не так мутился свет и зрение было обыкновенным, без фокусов.

Люда перетряхивала Аликовы подушки и с грустью думала, что за судьба такая ей досталась — всех хоронить. В свои сорок пять она похоронила мать, отца, двух бабушек, деда, первого мужа и вот только что — близкую подругу. Всех кормила, умывала, а потом и обмывала. «Но этот вроде уж совсем не мой, а вот привело...»

У нее была куча дел, длиннейший список покупок, визитов к незнакомым людям, которые хотели ее порасспросить о своих московских родственниках и порассказать о своей жизни, но она уже чувствовала, что влипла, не может оторваться от этого слепого дома, от человека, которого она вот-вот

Людмила Улицкая

полюбит, и снова ей придется надирать свое сердце на том же самом месте...

Зазвонил телефон, кто-то крикнул в трубку:

— Включите CNN! В Москве переворот!

— В Москве переворот, — упавшим голосом повторила Люда. — Вот тебе и новости.

В телевизоре замелькали обрывчатые куски хроники. Какое-то ГКЧП, не лица, а обмылки, косноязычные, с подлюстью, заметной на лице, как плохие вставные зубы...

— Да откуда же такие рожи берутся? — удивился Алик.

— А здешние что, лучше? — с неожиданным патриотизмом воскликнула Люда.

— Все-таки лучше. — Алик подумал немного. — Конечно, лучше. Тоже воры, но застенчивые. А эти уж больно бесстыжие.

Понять, что там происходит на самом деле, было совершенно невозможно.

У Горбачева оказалось «состояние здоровья».

— Наверное, они его уже убили...

Телефон звонил непрерывно. Событие такого рода удержать в себе было невозможно.

Люда развернула телевизор, чтобы Алику было удобнее.

Билет у нее был на шестое сентября. Надо скорей менять и возвращаться... А с другой стороны, чего возвращаться, когда сын здесь... Муж пусть лучше сюда выбирается... А здесь чего делать, без

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

языка, без ничего... Дома книги, друзья, милых шесть соток... Все пошло одной смутной тучей...

— Я же говорил: до подписания договора должно что-то произойти, — удовлетворенно сказал Алик.

— Какого еще договора?.. — удивилась Люда. Она не следила за политическими новостями, ей давно все это опротивело...

— Люд, разбуди Нику, — попросил Алик.

Но Ника уже и сама приползла.

— Помните мое слово: вот теперь все и решится... — пророчествовал Алик.

— Что решится? — Ника была рассеяна и еще не вовсе проснулась. Все события за пределами этой квартиры были от нее одинаково далеко.



К вечеру опять набилось множество народу. Телевизор вынесли из спальни и поставили на стол, народ отхлынул от Алика и сгрудился у телевизора. Происходило что-то совершенно непонятное: какой-то марионеточный дергунчик, завхоз из бани, усач с собачьей мордой, полубесы-полуноды, фантасмагория сна из «Евгения Онегина». И — танки. В город входили войска. По улицам медленно ползли огромные танки, и было непонятно, кто против кого воюет.

Люда, зажав виски, стонала:

— Что теперь будет? Что будет?

Людмила Улицкая

Сын ее, молоденький программист, сорвался пораньше с работы, сидел с ней рядом и немного ее стеснялся:

— Что будет? Военная диктатура будет.

Пытались прозвониться в Москву, но линия была занята. Вероятно, в эти минуты десятки тысяч человек набирали московские номера.

— Смотрите, смотрите, танки мимо нашего дома идут!

Танки шли по Садовому кольцу.

— Да чего ты так убиваешься, сын твой здесь, останешься, и все, — пыталась успокоить Люду Файка.

— А отец, наверное, давно на пенсии, — невпопад сказала Нина.

Один только Алик знал, что сказала она впопад: отец у Нины был пламенный гбэшник в большом чине, отказался от нее, когда она уехала, и даже матери запретил переписку...

— О, сучья власть, пропади она пропадом. И вся водка кончилась... — Либиш вскочил и пошел к лифту.

Джойка, которая довольно хорошо читала по-русски, но понимала русскую речь значительно хуже, в эти часы своими ушами прозрела: каждое слово, сказанное диктором, понимала с лету. Она принадлежала к странной породе людей, влюбившихся в чужую землю, ни разу ее не видевши, но одним только старомодным книжкам, да к тому же в плохих переводах. Но она хоть понимала по како-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

му-то неожиданному вдохновению дикторский текст, а Руди только пялил глаза, срзал и время от времени тянул Джойку за локоть и требовал перевода.

Происходящее в Москве было до такой степени непонятным, что перевод, похоже, требовался всем.

Про Алика на некоторое время забыли, и он закрыл глаза. То, что происходило на экране, он воспринимал сейчас как мелькание пятен. К вечеру устал, но сознание оставалось ясным.

Тишорт села к нему на ручку кресла, погладила плечо.

— Там теперь будет война? — спросила тихо.

— Война? Не думаю... Несчастливая страна...

Тишорт недовольно наморщила лоб:

— Ну, это я уже слышала. Бедная, богатая, развитая, отсталая — это я понимаю. А как это — несчастная страна? Не понимаю.

— Тишорт, а ты умница. — Алик посмотрел на нее с удивлением и с удовольствием.

И Тишорт это поняла.

Все сидящие здесь люди, родившиеся в России, различные по дарованию, по образованию, просто по человеческим качествам, сходились в одной точке: все они так или иначе покинули Россию. Большинство эмигрировало на законных основаниях, некоторые были невозвращенцами, наиболее дерз-

Людмила Улицкая

кие бежали через границы. Но именно этот совершённый поступок родил их. Как бы ни различались их взгляды, как бы ни складывалась в эмиграции жизнь, в этом поступке содержалось неотменимо общее: пересеченная граница, пересеченная, заплувшаяся линия жизни, обрыв старых корней и выращивание новых, на другой земле, с иным составом, цветом и запахом.

Теперь, по прошествии лет, сами тела их помнили состав: вода Нового Света, его новенькие молекулы составляли их кровь и мышцы, заменили все старое, тамошнее. Их реакции, поведение и образ мыслей постепенно меняли форму. Но при этом все они одинаково нуждались в одном — в доказательстве правильности того поступка. И чем сложнее и непреодолимей оказывались трудности американской жизни, тем нужнее были доказательства правильности того шага. Все эти годы для большинства из них вести из Москвы о все нарастающей пеллепости, бездарности и преступности тамошней жизни были, осознанно или бессознательно, желанным подтверждением правильности их жизненного выбора. Но никто не мог предположить, что все происходящее теперь в этой далекой, бывшей, вычеркнутой из жизни стране — пропади она пропадом! — будет так больно отзываться... Оказалось, что страна эта сидит в печенках, в душе, и, что бы они о ней ни думали, а думали они разное, связь с ней оказалась перасторжимой. Какая-то химическая реакция в крови — тошно, кисло, страшно...

ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Казалось, что она давно уже существует только в виде снов. Всем снился один и тот же сон, но в разных вариантах. Алик в свое время коллекционировал эти сны и даже собрал тетрадочку, которую назвал «Сонник эмигранта». Структура этого сна была такая: я попадаю домой, в Россию, и там оказываюсь в запертом помещении, или в помещении без дверей, или в контейнере для мусора, или возникают иные обстоятельства, которые не дают мне возможности вернуться в Америку, — например, потеря документов, заключение в тюрьму; а одному снурю даже явилась покойная мама и связала его веревкой...

Самому Алику этот сон явился в забавной разновидности: как будто он приехал в Москву, а там все светло и прекрасно и старые друзья празднуют его приезд в какой-то многокомнатной квартире, страшно знакомой и запущенной, вокруг толчея и дружеская свалка, а потом все едут провожать его в Шереметьево, и это уже совсем не похоже на душевраздирающие проводы прошлых лет, когда всё навсегда и насмерть. И вот уже надо идти на посадку, но тут вдруг появляется Саша Ноликов, старый приятель, сует ему в руку несколько собачьих поводков, на которых волнуются и пританцовывают милые небольшие дворняги, пестрепкис, с лаячьей кровью и загнутыми крендельком хвостами, — и исчезает. Все друзья куда-то подевались, и Алик стоит с этими собаками, и нет никого, кому бы он мог передать эту сворку, и уже объявляют, что ре-

Людмила Улицкая

гистрация на Нью-Йорк заканчивается. Какой-то служащий авиакомпании подходит к нему и сообщает, что самолет уже в воздухе... И он остается с этими собаками в Москве, почему-то известно, что навсегда. Беспокоит только одно: как Нинка будет платить за ателье в Манхэттене. И тут же, во сне, запахло лифтом, лофтом, невыветриваемым грубым табаком...

— Скажи, Алик, а там вы плохо жили? — Тишорт снова тербила его плечо.

— Дурочка... Отлично мы жили... Да мне всюду отлично...

Это точно. В Манхэттене он жил, как на Трубной, как на Лиговке, как по любому из своих долговременных или трехдневных адресов. Он быстро обживал новые места, узнавая их закоулки, подворотни, опасные и прекрасные ракурсы, как тело новой любовницы.

В годы юности все вертелось с большой скоростью, но, при его повышенном внимании к миру и памяти, ничего не забывалось: он мог бы восстановить рисунок обоев всех комнат, где жил, лица продавщиц в ближайших булочных, узор лепнины на фасаде дома напротив, профиль щуки, пойманной на удочку в Плещеевом озере в шестьдесят девятом году, и лирообразную сосну с одним

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

сбитым рогом, возвышавшуюся посреди пионерского лагеря в Верее...

И словно в благодарность за память и внимание мир был благосклонен к нему. Он присажал в распухший от дождей Кейп-Код, и вылезало дрожащее солнышко; он проходил мимо яблони, и выжидавшее этого момента яблоко падало к его ногам просто так, в подарок. Это качество распространялось даже на мир техники: когда он набирал номер, линия всегда была свободна. Здесь, правда, был маленький фокус. Когда, зная эту его способность, его просили набрать какой-нибудь намертво занятый номер, он иногда часами отказывался, а потом вдруг, улучив момент, мгновенно пробивался...

Америка явственно отвечала приятно на его восхищение. А у Алика просто дух захватывало от новизны этого Нового Света. Он казался Алику маленьким в буквальном смысле этого слова. Старые, в три обхвата, деревья были выстроены из молодой и крепкой ткани. Здесь все было плотнее, крепче и грубее. Алик, человек третьего, российского, мира, в тридцатилетнем возрасте прикоснулся и к Америке, и к Европе. Сначала Вена и Рим, все итальянские сладости, от которых почти год он не мог оторваться... Только уехав в Америку и прожив в ней первые годы безвыездно, он понял американскую зависть к старой Европе с ее прозрачной изношенностью, культурной уточенностью и даже истерзанностью, равно как и высокомерное, но в глуби-

Людмила Улицкая

не тоже завистливое отношение Европы к широкоплечей и элементарной Америке.

Алик, с рыжей щеточкой усов, с подвязанными в ту пору у шеи длинным жестким хвостом волосами, стоял между ними как третейский судья — и не могло быть лучшего судьи. Он не отличался беспристрастностью, напротив, он был невероятно и любовно пристрастен. Он обожал хайвси Америки и разноцветную, самую красивую, как он полагал, в мире толпу — толпу нью-йоркской подземки, американскую уличную еду и ее уличную музыку. Но он наслаждался маленькими круглыми фонтанчиками на круглых площадях Экс-ан-Прованса, отмечаящего собой пежный переход между Францией и Италией, любил романскую архитектуру и всегда, когда ему попадались ее останки, радовался встрече, обожал изрезанные, как кленовые и березовые листья, берега греческих островов и средневековую Германию, каждую минуту обещавшую открыть себя в Марбурге или в Нюрнберге, но не исполнившую обещания, зато все, что не было найдено на улицах, обнаружилось в потрясающих немецких музеях, и немецкое искусство совершенно перешибло итальянское Возрождение. И пиво немецкое было отличное.

Он никогда не чувствовал необходимости принимать чью-то сторону, он стоял на своей собственной стороне, и это место позволяло ему любить всех равно.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Он бормотал девочке что-то куцее и, как ему самому казалось, незначительное об Америке и Европе, огорчился, что поглупел и не может сказать убедительно и связно. Она слушала его со вниманием, а потом спросила:

— А ты любишь Россию?

— Конечно, люблю.

— А почему? — все приставала к нему Тишорт.

— По кочану, — грубо отрезал он.

Тишорт разозлилась. Она так и не научилась принимать в расчет его болезнь.

— И ты, и ты как все! Объясни — почему? Все говорят, что там очень плохо жили.

Алик честно задумался: вопрос оказался действительно непрост.

— Открыть секрет?

Тишорт кивнула.

— Подставь поближе ухо.

Она прислонила ухо к самым его губам, едва его не завалив.

— Никто в этом ни хрена не понимает, а самые умные только прикидываются, что понимают.

— При — что?

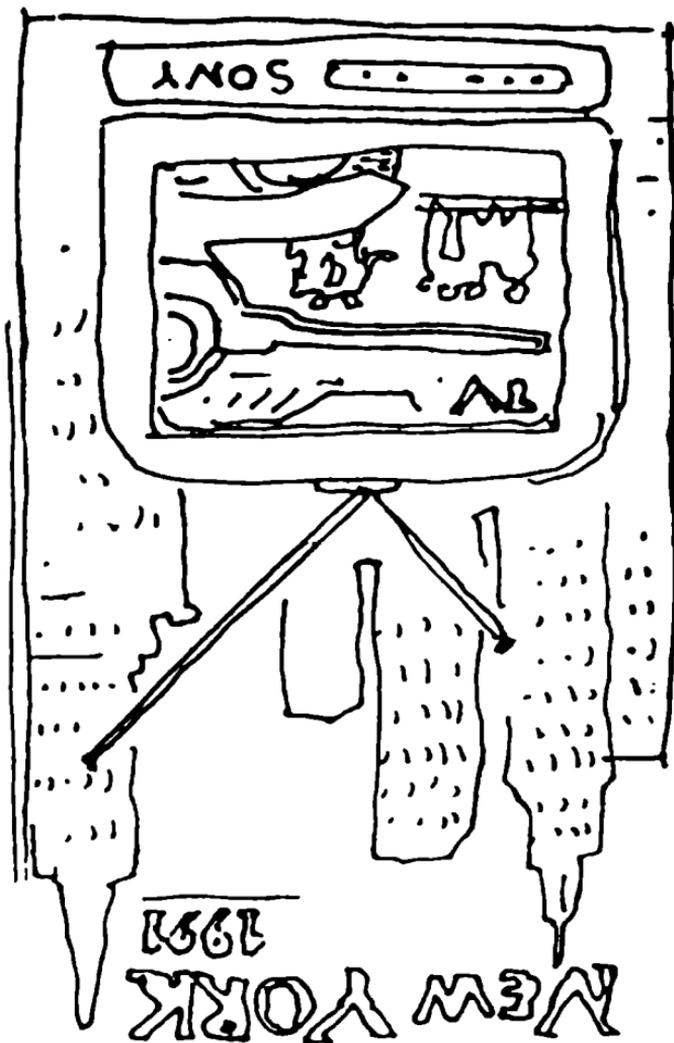
— Делают вид.

— И ты? И ты тоже? — как будто обрадовалась Тишорт.

— Я прикидываюсь лучше всех.

Вид у обоих был исключительно довольный. Ирина с ревнивым интересом смотрела в их сторону.

Людмила Улицкая



SONY

1961

NEW YORK

Хозяин дома был большая гнида. Алик как кость в горле торчал у него уже почти двадцать лет, и ничего с этим нельзя было поделаться. Первый жилец, попавший сюда, как только дом перешел в руки этого хозяина и склады только-только освободились, Алик платил ему за квартиру деньги, которые теперь были просто смешными. Тот старый контракт изменить было невозможно.

Район Челси, когда-то фабричный, запущенный, столь точно описанный любимым Аликом О'Генри, стал за эти годы почти фешенебельным. Рядом был Гринвич-Виллидж с богемной жизнью, музыкальными клубами и паркотическими забавами, и дух почного веселья распространялся от него, захватывая близлежащие кварталы.

За последние двадцать лет здесь все взлетело в цене, квартиры чуть не в десять раз, а Алик все платил четыре сотни, да еще и постоянно задерживал.

Хозяин дома жил в богатом пригороде, всем ведал «суперинтендант» — поместь управдома с дворником. Это была должность наемная. Здешний «супер» Клод работал в доме почти с самого заселения, он был человек совсем особенный — полуфранцуз с каким-то заковыристым прошлым. Из его обрывчатых рассказов то всплывал Три니다д с океанской яхтой, то выскакивала Северная Африка с опасными охотами. Похоже было на вранье, но одновре-

Людмила Улицкая

менно с этим складывалось впечатление, что подлинная его жизнь содержит кое-что не менее интересное. И Алик допридумал ему биографию, уверял всех, что тот великий карточный шулер, попался, сидел в турецкой тюрьме и бежал на воздушном шаре...

Дважды, в самые трудные времена, Клод, не лишенный художественных интересов и филантропических замашек, выручал Алика, покупал его работы. Не так уж много на свете домоуправов, покупающих живопись. Кроме всего прочего, Клод любил Нипку. Он приходил иногда к ней поболтать, она варила ему кофе, когда-то даже раскладывала легкое дурацкое гаданье «на даму»... Не знающая ни слова по-английски, Нипка, приехав в Америку, принялась за французский. В этом был какой-то особенный, только ей свойственный идиотизм. Может быть, именно поэтому Клод ее так полюбил. Сам он тоже был человек со странностями, единственный из всех он даже предпочитал Нипку Алику.

Клод, проходя обыкновенно в первой половине дня, видел, что в хаотической и бесформенной Нипкиной жизни присутствовал элемент строгого режима. Она вставала обыкновенно около часу и подавала слабый голос; Алик варил ей кофе и нес в спальню вместе со стаканом холодной воды. Обычно это было самое рабочее время, и в эти часы он с ней даже не разговаривал. Она медленно приходила в себя, долго принимала ванну, мазала лицо и тело разными кремами, присланными из Москвы

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

подругой — местных она не признавала, — и бесконечно водила щеткой по знаменитым волосам. В молодости она несколько лет проработала в московском Доме моделей и все никак не могла забыть этого великого в жизни времени.

Надев черное кимоно, она снова забивалась в спальню с каким-нибудь восхитительно дурацким занятием: пасьянсом или складыванием огромных картин «паззл». Вот тут обыкновенно и приходил Клод. Она принимала гостя в кухне и пила свои наперсточные чашечки одну за другой. В это время дня она есть еще не могла и пить тоже. Она была действительно слабенькая — даже курить начинала ближе к вечеру, собравшись с силами, уже после первой еды и первого алкоголя.

Алик закапчивал часам к семи. Если водились деньги, шли обедать в один из маленьких ресторанов Грипвич-Виллиджа. Первые американские годы были у Алика поудачней, тогда еще не так много русских художников понаехало, он был даже в небольшой моде.

Нинка в начале американской жизни предпочитала все восточное, это был самый пик ее увлечения, и они шли к китайцам или к японцам. Алик, конечно, знал самых настоящих.

Нинка к выходу усердно готовилась, одевалась, красилась. Брала с собой кошку Катю, привезенную из Москвы со всеми положенными справками, бледно-серую, с желтыми глазами. Катя тоже была сумасшедшая — какую нормальную кошку можно

Людмила Улицкая

заставить часами лежать на плече, свесив расслабленно лапы?

Если к вечеру приходили друзья, заказывали пиццу влизу или китайскую еду из Чайпа-таупа, из любимого ресторана, где их знали. Хозяин всегда присылал для Нипки какой-нибудь маленький подарочек. Кто-нибудь приносил пиво или водку — большого пьянства тогда не было.

— Здесь климат такой, — говорил Алик, — здесь пьянства нет, есть алкоголизм.

Это была правда. На третьем году своего пребывания в Америке Нипка стала настоящим алкоголиком, правда, малопьющим. Но красота ее от этого делалась все пронзительней...



Хозяин приехал накануне навести порядок в делах. Расчихвостил Клода за мусорный штраф и потребовал немедленного выселения Алика: неуплата за три месяца была достаточным основанием. Клод пытался даже зацитить старых жильцов, говорил об ужасной болезни и, вероятно, скором конце.

— Я хочу сам посмотреть, — настаивал хозяин, и Клоду ничего не оставалось, как подняться на пятый этаж.

Шел одиннадцатый час, жизнь была в самом разгаре, когда они вышли из лифта. На грузного старика с розовым замшевым лицом никто внима-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

ния не обратил. Никакого ожидаемого буйного веселья и особого русского пьянства не происходило. Возле телевизора сидела большая компания. Хозяин огляделся. Он давным-давно сюда не заглядывал. Помещение прекрасное, немного отремонтировать — и можно взять тридцать пять сотен, а то и сорок.

— Он хороший художник, этот парень. — Клод указал глазами на работы, прислоненные к стене. Алик прежде не любил развешивать своих работ, ему мешали старые картины.

Хозяин взглянул мельком. У него был приятель, который держал в двадцатых годах здесь, в Челси, дешесенькую гостиницу, почти почлежку, пускал всякий сброд, пищих художников, безработных актеров, продержался кое-как в депрессию. Иногда брал у своих жильцов вместо денег их мазню, исключительно по доброте душевной, всшал в холле. А потом прошли годы — и оказалось, что у него собралась коллекция, которая стоила десяти гостиниц... Но это было давно, времена были другие, а теперь слишком уж много художников развелось. «Нет-нет, никаких этих картин», — решил хозяин.

Нипка, увидев Клода, пошла к нему своей шаткой изящной походкой, готова по дороге французскую фразу, но сказать не успела, потому что Клод первым ей сказал:

— Наш хозяин зашел по делу.

Нипка проявила неожиданную сметливость, за-

улыбалась, что-то прощелбетала неопределенное и рванулась к Либицу. Обхватила его за голову и горячо зашептала в ухо:

— Вон там у двери хозяин, его «супер» привел. Ты сделай так, чтобы они к Алику не цеплялись. Умоляю.

Либиц быстро смекнул, в чем дело, вышел к ним с придурковатой радостной улыбкой:

— Видите ли, в Москве политический переворот, мы несколько обеспокоены.

Звучало это так, как будто он премьер-министр соседнего государства. При этом он напирал на них животом и теснил к лифту. Они поддавались. Уже возле самой двери, перестав улыбаться, сказал четко и раздельно:

— Я брат Алика. Прошу прощения за задержку, счета я вчера оплатил и гарантирую, что больше таких задержек не будет...

«Сейчас этот чертов ирландец разволнится», — подумал Клод, но хозяин, ни слова не говоря, нажал лифтовую кнопку.

13

Двое суток телевизор не выключали. Двое суток не смолкал телефон и беспрерывно хлопала дверь. Алик лежал плоский и резиновый, как пустая грелка, но был оживлен и уверял, что ему много лучше.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Как античная драма, действие шло уже три дня, и за это время прошлое, от которого они более или менее основательно отгородились, снова вошло в их жизнь, и они ужасались, плакали, искали знакомые лица в огромной толпе возле Белого дома и дождались-таки минуты, когда Людочкин сын вдруг завопил:

— Папа, смотрите, папа!

На экране был бородатый человек в очках, всем, казалось, знакомый, он шел прямо на камеру, слегка наклонив голову. Люда обхватила горло руками:

— Ой, Костя! Я так и знала, что он там!

К этому времени уже было ясно, что переворот не удался.

— Мы выиграли, — сказал Алик.

Откуда взялось это «мы», совершенно непонятно. Но это было то самое «мы», которому удивлялся отец Виктор в Париже, в самом начале войны. Дед его, белый офицер, принявший сан уже в эмиграции, ощутил тогда острую связь с Россией, устоявшаяся за годы эмиграции «они» вдруг сменилось у него на это самое «мы», и в сорок седьмом он едва не уехал в Россию себе на погибель...

Либиш был с Аликом совершенно не согласен, но сегодня не собирался спорить, только пробормотал:

— Ну, вот это как раз совершенно неизвестно, кто в действительности выиграл...

Людмила Улицкая

Все радовались, что не началась гражданская война, что танки вышли из города.

Непрерывно шла хроника: на Лубянке свалили Дзержинского и показали опустевший цоколь, лучший из всех памятников советской власти — пустой пьедестал. Партия — из гранита, мрамора, стали, как она сама себя расписывала, — сыпалась как труха, исчезала как наваждение.

Хоронили троих погибших — три случайные песчинки были выбраны из толпы небесной рукой: ребята с хорошими лицами — русский, украинец, еврей. Над двумя машут кадиллом, третий покрыт талесом. Таких похорон еще не было в этой стране... И тысячи, тысячи людей...

Казалось, все гнило, больное, подлое, что так долго копилось, разом обломилось, обрушилось и, как выплеснутые помои, как куча выброшенного смрадного хлама, уплывает по реке...

И здешние, бывшие русские, в полном одиночестве радовались, и всеобщая радость по этому поводу выражалась не в том, что пили больше обычного, а в том, что запели старые советские песни. Лучшие всех пела Валентина:

Все стало вокруг голубым и зеленым...

Под каждым окошком поют соловьи...

В этом квартале, в этой квартире не было ничего голубого и зеленого, и все они прекрасно знали, что все цвета в их новой стране имеют другие от-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

тенки, иную степень напряженности, по каждый вспоминал цвета своего собственного детства: Валентина — Институтскую улицу в Калуге, текущую к мыльно-голубой Оке между двух рядов бледных лип, Алик — голубое и зеленое Подмосковье, доверчивый и ласково-неуверенный цвет первой листы и нежного, в длинных переливах, неба, а Файка — Марьино рощу с хромыми насаждениями и грубыми, топорно сделанными золотыми шарами на фоне едко-зеленого забора...

Снизу, правда, тянуло прежней музыкой, и не обычной южноамериканской сальсой, а чем-то диким, бессмысленным, с постукиванием и подвыванием. Алик, более всех чувствительный к музыке, взмолился:

— Либи, Христа ради, пойдн заткни их как-нибудь.

Либи, прихватив Наташу, исчез.

В телевизоре шли толпы, толпы. В комнате тоже было много народу, и даже казалось, что они как-то связаны. Временами Алик замечал, что среди привычных лиц вдруг промелькивало незнакомое. Он увидел какого-то маленького седого старичка с кожаным ремешком на лбу, в странной белой одежде, но как-то не в фокусе.

— Ниц, а кто этот старичок? — спросил он.

Нинка встревожилась — неужели он заметил хозяина?

— Я про того маленького, с белой бородкой...

Людмила Улицкая

Нинка огляделась — никакого старичка не было.

Невыносимая музыка вдруг куда-то исчезла. Зато появились чьи-то дети, в большом количестве. Странные малосимпатичные дети с немного зверушечьями личиками. И, несмотря на поздний вечер, было очень жарко. Подошла Валентина:

— Ну что?

— Спой что-нибудь прохладное.

Валентина села рядом с Аликом, обхватила его высохшую ногу и запела тихо и очень вяжно:

Ой, мороз, мороз, не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня...

Голос у Валентины был действительно прохладным, и от него расходились по воздуху тонкие морщины, как после игрушечного кораблика, нуцственно на воду.

Алик увидел себя втиснутым в толстую коричневую шубу, в тесной цигейковой шапке поверх белого платка, на шубе ремень с любимой пряжкой, а сам он сидит в салазках с гнутой спинкой, впереди него идут мамы войлочные ботки и бьется подола синего пальто о серый войлок. Рот у него туго завязан шерстяным шарфом, а в том месте, где губы, шарф мокрый и теплый, но надо сильно дышать, очень сильно, потому что, как только перестанешь дышать, ледяная корочка запечатывает эту теплую лунку и шарф сразу же промерзает и колет...

Дети, которых делалось все больше и больше,

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

они тоже как будто в шубах, в пушистых заснеженных шубах...

Хлопнула дверь — из лифта вывалился Либин с шестью парагвайцами. Все парагвайцы были почти одинаковые, мелкорослые, в черных брюках и белых рубашках, с маленькими барабанчиками, трещотками и колотушками. Они шли, погромыхивая своей музыкой.

— Ниш, ну а эти откуда взялись? — неуверенно спросил Алик.

— Либин привел.

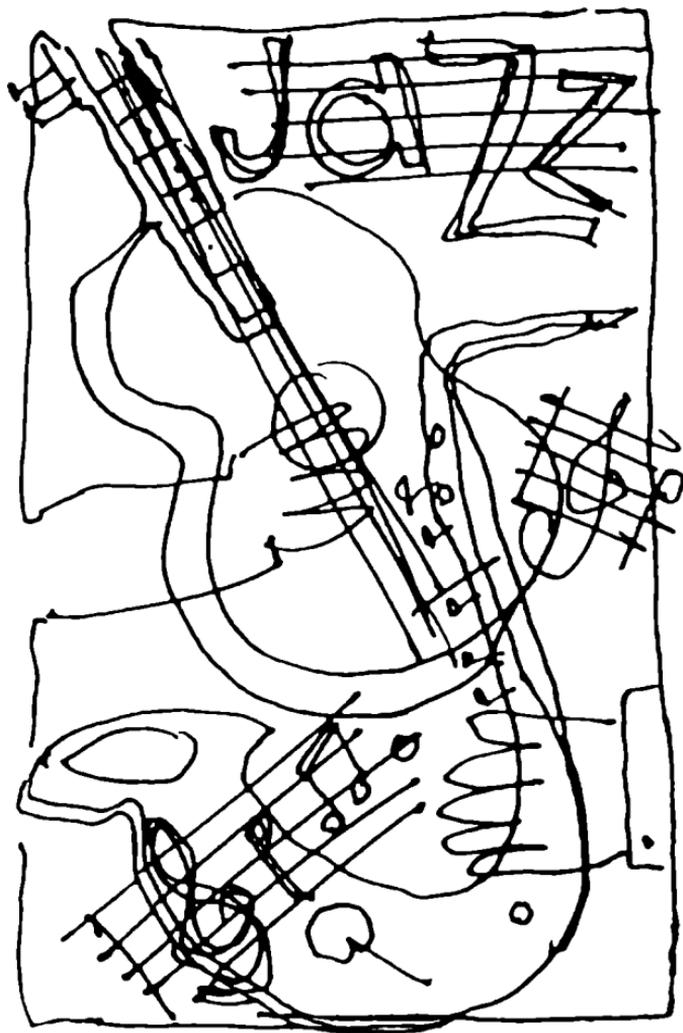
Либин был пьян вдребезги. Он подошел к Алику:

— Алик! Отличные ребята оказались. Я поставил им выпить. Думаю, они же не могут играть, когда руки стаканом заняты. И точно. Отличные ребята, только по-английски не говорят. Один немного спикает. А другие даже по-испански не очень умеют. У них язык гуарани или что-то похожее. Мы выпили чуток, я говорю: у меня друг болен. А они говорят: у нас есть такая музыка специальная, для тех, кто болен. А? Занятные ребята такие...

Занятные ребята тем временем выстроились гуськом, друг другу в затылок. Первый, со шрамом через кирпично-смуглое лицо, ударил в барабанчик, и они двинулись по кругу, коротконогие, чуть приседая на каждом шагу, ритмично покачиваясь и издавая какие-то криковдохи.

Девицы, изнемогшие за последнюю неделю от их музыки, зашли от него смеха.

Людмила Улицкая



Но здесь, в помещении, эта музыка звучала совсем по-другому. Она была до жути серьезная, имела отношение не к уличному искусству, а к другим, несоизмеримо более важным вещам. В ней присутствовал стук сердца, дыхание легких, движение воды и даже ворчащие звуки пищеварения. А сами музыкальные инструменты — боже правый! — были черепами и малыми косточками, и скелетики висели на самих музыкантах, как праздничные украшения... Наконец музыка замерла, но не успел народ загудеть, вклинившись в эту паузу, как они развернулись в другую сторону и опять двинулись гуськом по кругу, и пошла другая музыка — древняя, жуткая...

— Пляска смерти, — догадался Алик.

Теперь, когда ему открылся смысл этой музыки как буквальный рассказ об умирании тела, он понял также, что их движение противусолонь было прологом к какой-то следующей теме. Та монотонная и заунывная музыка, которая так раздражала его все последнее время, оказалась внятной, как азбука. Но она оборвалась, чего-то недосказав.

Гости всё прибывали. Алик разглядел в толпе своего школьного учителя физики, Николая Васильевича, по прозвищу Галоша, и вяло удивился: неужели он эмигрировал на старости лет?.. Сколько же ему теперь?.. Колька Зайцев, одноклассник, попавший под трамвай, худенький, в лыжной курточке с карманами, подбрасывал ногой трясичный мячик... как мило, что он приволок его с собой...

Людмила Улицкая

Двоюродная сестра Муся, умершая девочкой от лейкоза, прошла через комнату с тазом в руках, только не девочкой, а уже вполне взрослой девушкой. Все это было ничуть не странно, а в порядке вещей. И даже было такое чувство, что какие-то давние ошибки и неправильности исправлены...

Фима подошел и потрогал холодную руку:

— Алик, может, тебе хватит гулять?

— Хватит, — согласился Алик.

Фима поднял его легчайшее тело и отнес в спальню. Губы Алика были синими, ногти на руках — голубыми, и только волосы горели неизменной темной медью.

«Гипоксия», — отметил автоматически Фима.

Нина тащила с подоконника бутылку с травяным настоем...

Главный из парагвайцев, их толмач, подошел к Валентине и попросил разрешения потрогать ее волосы. Одну руку он запустил в свои грубые угольно-блестящие патлы, а пальцами другой прошепслся по Валентининым, выкрашенным разноцветными прядями, и засмеялся — чем-то его порадовала ее пестрая голова. Две недели тому назад они приехали в Нью-Йорк из большой деревни, затерявшейся в тропическом лесу, и не все диковинки здешнего мира успели потрогать руками. У нее же возникло странное ощущение, будто на нее надели тибетейку. Впрочем, в этом не было ничего неприятного и через несколько минут прошло.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Алик ловил воздух. Он знал, что надо дышать получше, иначе теплая лунка в шарфе затянется. Он делал судорожные вдохи, которых получалось больше, чем выдохов.

— Устал...

Фима сжал его запястье, сухое, как ветка мертвого дерева. Умирала диафрагмальная мышца, умирали легкие, умирало сердце. Фима раскрыл саквояж и задумался. Можно ввести камфару, подогнать истощенное сердце, пустить его галопом. Надолго ли хватит?.. Можно наркотик. Приятное забвение, из которого он, скорее всего, не вернется. А если оставить все так, как есть... сутки, двое... Никто не знает, сколько часов это может продолжаться...

Эта страна ненавидела страдание. Она отвергла его онтологически, допуская лишь как частный случай, требующий немедленного искоренения. Отрицающая страдание молодая нация разработала целые школы — философские, психологические и медицинские, — занятые единственной задачей: любой ценой избавить человека от страдания. Идея эта с трудом ложилась на российские мозги Фимы. Земля, вырастившая его, любила и ценила страдание, даже сделала его своей пищей; на страданиях росли, взрослели, умнели... Да и еврейская Фимины кровь, тысячелетиями перегоняемая через фильтр страдания, как будто несла в себе какое-то жизненно важное вещество, которое в отсутствие страдания разрушалось. Люди такой породы, избавляясь от страдания, теряют и почву под ногами...

Людмила Улицкая

Но к Алику все это не имело отношения. Фима не хотел, чтобы его друг так жестоко страдал последние часы жизни...

— Нипочка, а теперь мы вызовем ambulance, — сказал Фима гораздо более решительно, чем оно было у него в душе...

14

Машина присхала через пятнадцать минут. Здоровенный черный парень баскетбольного роста с выдвинутой челюстью и щуплый интеллигент в очках. Врачом оказался негр, а тот, второй, — беглый поляк или чех, как решил Фима, и тоже не дотянувшийся до американского диплома. Сходство непрощеное и неприятное. Фима отошел к окну.

Негр откинул простыню. Провел рукой перед глазами Алика. Алик никак не отреагировал. Врач сжал запястье, утонувшее в его громадной руке, как карандаш. Фраза, которую он произнес, была длинной и совершенно непонятной. Фима скорее догадался, что тот говорит об искусственных легких и о госпитализации. Но даже не понял, предлагает он его забрать в госпиталь или, наоборот, отказывается.

Но Нинка качала головой, трясла волосами и говорила по-русски, что никуда Алика не отдаст. Врач внимательно смотрел на ее отоцвавшую красоту, потом прикрыл большие веки в огромных ресницах и сказал:

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

— Я понял, мэм.

После чего он набрал в большой шприц жидкость из трех ампул и вкатил Алику между кожей и костью, в почти отсутствующее бедро.

Очкарик кончил свою писанину, свел страдальчески лохматые брови на долгоносом лице и сказал врачу с акцентом, даже Фиме показавшимся чудовищным:

— Женщина в плохом состоянии, введите ей транквилизатор, что ли, принимая во внимание...

Врач стащил с рук перчатки, бросил в кейс и, не глядя в сторону советчика, буркнул что-то презрительное. Фиму просто передернуло: как он его...

«Чего я здесь сижу, как мудака: ничего не высижу. Надо возвращаться», — впервые за все эти пропавшие годы подумал Фима. И вдруг испугался: а сможет ли он, в самом деле, снова стать врачом? А смог бы он сдать все эти поганые экзамены порусски? Да, впрочем, кто в Харькове с него спросит, там-то диплом годится...

После ухода бессмысленной медицины Нина вдруг страшно засуетилась. Опять начала посылаться с бутылками. Села у ног Алика, налила себе в ладонь жидкость и стала растирать Алику ноги, от кончиков пальцев вверх, к голени, потом к бедру.

— Они ничего, ничего не понимают. Никто ничего не понимает, Алик. Они просто ни во что не верят. А я верю. Я верю. Господи, я верю же. — Она лила горсть за горстью, пятна расплывались на

Людмила Улицкая

простыне, брызги летели в разные стороны, она яростно терла ноги, потом грудь. — Алик, Алик, ну сделай же что-нибудь, ну скажи что-нибудь. Ночь проклятая... Завтра будет лучше, правда...

Но Алик ничего не отвечал, только дышал судорожно, напряженно.

— Нинок, ты приляг, а? А я его сам помассирую. Хорошо? — предложил Фима, и она неожиданно легко согласилась. — Там Джойка сторожит. Она хотела сегодня подежурить. Может, ты там, на коврик? А она здесь посидит.

— Пусть катится. Не нужен никто. — Она легла лицом вниз, в погах у Алика, поперек широкой тахты, где он совсем уже терялся, и все продолжала говорить: — Мы поедем на Джамайку или во Флориду. Возьмем напрокат машину большую и всех возьмем с собой: и Вальку, и Либила, всех-всех, кого захотим. И в Диснейленд по дороге заедем. Правда, Алик? Отлично будет. Будем в мотелях останавливаться, как тогда. Они ни черта не понимают, эти врачи. Мы тебя травой поднимем, еще не таких поднимали... еще не таких лечили...

— Тебе поспать бы надо, Нин.

Она кивнула:

— Попить припеси.

Фима пошел навести ей ее поила. Гости разошлись.

В мастерской, в уголке сжалась Джойка с серебристым Достоевским, все ждала, не позовут ли ее

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

дежурить. Укрывшись с головой, спал кто-то из оставшихся гостей. Люда, домывая стаканы, спросила у Фимы:

— Что?

— Агония, — сказал Фима только одно слово.

Он отнес Нине ее питье. Она выпила, свернулась в ногах у Алика, потом стала что-то неразборчиво бормотать и вскоре уснула. Она, кажется, еще не понимала, что происходит.

Завтра, то есть уже сегодня, у Фимы был рабочий день, послезавтра он мог бы взять отгул, третьего дня, наверно, уже не понадобится. Он сел на тахту, раскинув шишковатые колени, поросшие ковровыми волосами, корявый неудачник, зануда. Он ничего сейчас не мог делать, кроме как сидеть, грустно потягивая водку с соком, смачивать Алику губы — глотать он уже совсем не мог — и ожидать того, что должно произойти.

Ближе к утру пальцы у Алика стали мелко подрагивать, и Фима решил, что пора поднимать Нинокку. Он погладил ее по голове — она возвращалась откуда-то издалека и, как всегда, долго соображала, куда же ее вынесло. Когда глаза ее осветились пониманием, Фима сказал ей:

— Нинок, вставай!

Она склонилась над мужем и запово удивилась перемене, которая произошла с ним за недолгое время, что она спала. У него сделалось лицо четыр-

Людмила Улицкая

надцатилетнего мальчика — детское, спокойное, светлое. Но дыхание было почти неслышимо.

— Алик. — Она тронула руками его голову, шею. — Ну, Алик...

Отзывчивость его была всегда просто сверхъестественной. Он отзывался на ее зов мгновенно и с любого расстояния. Он звонил ей по телефону из другого города именно в ту минуту, когда она его мысленно об этом просила, когда он бывал ей нужен. Но теперь он был безответен — как никогда.

— Фима, что это? Что с ним?

Фима обнял ее за тощие плечи:

— Умирает.

И она поняла, что это правда.

Ее прозрачные глаза ожили, она вся подобралась и неожиданно твердо сказала Фиме:

— Выйди и пока сюда не заходи.

Фима, ни слова не говоря, вышел.

15

Люда перенительно ткнулась в спальню.

— Все выйдите, все, все! — Нишкин жест был величественным и даже театральным.

Джойка, сидевшая в уголке уперев подбородок в колени, изумилась:

— Ниша, я пришла за ним сидеть.

— Я говорю — все убирайтесь!

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Джойка вспыхнула, затряслась, подскочила к лифту. Люда растерянно стояла посреди мастерской... Натянув одеяло на голову, похрапывал уснувший гость. А Нипка метнулась в кухню, вытащила из каких-то глубин белую фаянсовую супницу.

На мгновение предстал тот чудесный день, когда они приехали в Вашингтон, перепочевали у Славки Крейна, веселого басиста, переквалифицировавшегося в грустного программиста, как позавтракали в маленьком ресторанчике в Александрии, возле скверика. Пенсионеры играли на улице чудовищно плохую, но совершенно бесплатную музыку, а потом Крейн повез их на барахолку. День был такой веселый, что решили купить что-нибудь прекрасное, но за полтиппик. Денег, правда, было очень мало. И тут к ним пристал седой красивый негр с изуродованной рукой, и они купили у него английскую супницу времен Бостонского чаепития, а потом весь день таскали с собой эту большую и неудобную вещь, которая никак не влезала в сумку, а Крейн со своей машиной поехал кого-то встречать или провожать.

«Так вот зачем мы ее тогда купили», — догадалась Нипка, паливая в нее воду.

Она вся распрямилась, ростом стала еще выше, торжественно пронесла супницу в спальню, держа ее высоко, на уровне лица, и прижимаясь к бортику губами.

Людмила Улицкая

«Совсем, совсем сумасшедшая, что с ней будет», — сморщился Фима.

Она уже забыла, что всех выпала.

Супницу она осторожно поставила на красную табуретку. Вытащила из комода три свечи, зажгла их, расплавила снизу и прилепила к фаянсовому бортику. Все получалось у нее с первого раза, без труда, нужные вещи как будто выходили ей навстречу.

Она сняла со стены бумажную иконку и улыбнулась, вспомнив, какой странный человек оставил ее здесь. Тогда у них в доме жил один из многочисленных бездомных эмигрантов. Нинка была равнодушна к постояльцам и обычно почти их не замечала, а как раз того просила поскорее выставить, но Алик говорил:

— Нинка, молчи. Мы слишком хорошо живем.

А тот парень был чокнутый, не мылся, носил что-то вроде вериг на теле, Америку ненавидел и говорил, что ни за что бы сюда не поехал, но у него было видение, что Христос сейчас в Америке и он должен его разыскать. И он искал, гоня по Центральному парку с утра до вечера. А потом его кто-то падоумил, и он отправился в Калифорнию, к другому такому же, но к американцу — не то Серафим, не то Севастьян, — тоже, говорят, был сумасшедший, еще и монах...

Иконку Нина поставила, уперев ее в суповую миску, и задумалась на мгновенье. Какая-то мысль ее тревожила... об имени... Имя у него было совершенно невозможное — в честь покойного деда ро-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

дители записали его Абрамом. А звали всегда Аликом и, пока родители не разошлись, всегда спорили, кому это пришло в голову — назвать ребенка столь нелепо и провокационно. Так или иначе, даже не все близкие друзья знали его настоящее имя, тем более что, получая американские документы, он записался Аликом...

Человек, которому посить вообще какое бы то ни было имя оставалось совсем недолго, изредка судорожно всхрапывал.

Нинка кинулась искать церковный календарь, сунула наугад руку в книжную полку и за кривой стопкой кое-как лежащих книг сразу же нашла старый календарь. Под двадцать пятым августа стояло: мчч. Фотия и Аникиты, Памфила и Капитона; сщмч. Александра... Опять все было правильно. Имя годилось. Все шло сй навстречу. Она улыбалась.

— Алик, — позвала она мужа. — Не сердись и не обижайся: я тебя крещу.

Она сняла с длинной шеи золотой крест — бабушки, терской казачки. Ей про все объяснила Марья Игнатьевна: любой христианин может крестить, если человек умирает. Хоть крестом золотым, хоть спичками, крестиком связанными. Хоть водой, хоть песком. Теперь только надо было сказать простые слова, которые она помнила. Она перекрестилась, опустила крест в воду и хриплым голосом произнесла:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Людмила Улицкая



Она начертила крест в воде, окунула в сунницу руку, набрала в горсть воды и, стряхнув ее на голову мужу, закончила:

— ...крещается раб Божий Алик.

Она даже не заметила, что такое подходящее имя — Александр — вылетело у нее из головы в решающую минуту.

Дальше она не знала, что ей делать. С крестом в руке она села возле Алика, провела пальцами, размазывая крещальную воду по лицу, по груди. Одна из свечей прогнулась и, пренебрегая законом физики, упала не наружу, а внутрь ставшего священным сосуда. Зашипела и погасла. Потом Нина сделала свой крест ему на шею.

— Алик, Алик, — позвала она его.

Он не отозвался, только вздохнул с горловым храпом и снова затих.

— Фима! — крикнула она.

Фима вошел.

— Ты посмотри, что я сделала, — я его крестила.

Фима повел себя профессионально:

— Ну, крестила и крестила. Хуже не будет.

Оживление и чудесное чувство уверенности, что все она делает правильно, вдруг покинуло Нину. Она отодвинула табурет в угол, легла рядом с Аликом и поехала какую-то окозесницу, в которую Фима не вслушивался.

Приоткрылась дверь, вошел Киплинг — тихая собака, которая третьи сутки лежала у двери и

ждала свою хозяйку. Клиппинг положил голову на тахту.

«Надо его вывести», — сообразил Фима. Было уже пора собираться на работу. Джойка, обидевшись, ушла. Уехала среди ночи и Люда. Фима разбудил спящего — им оказался Шмуль, а не Либиш, как Фима предполагал, и это было очень кстати, потому что Шмулю торопиться было некуда, он всю свою американскую жизнь, лет десять, сидел на пособии. Фима растолкал его, дал на крайний случай инструкцию и свой рабочий телефон. Теперь оставалось вывести Клиппинга — он стоял смиренно возле двери и помахивал хвостом — и ехать на работу.

16

Следующий после крещения день Нинка не выходила из спальни, лежала, обхватив Алика за ноги, и никого туда не пускала.

— Тише, тише, он спит, — говорила она каждому, кто приоткрывал дверь.

Он был в забытьи, только изредка похрипывал. При этом всё, что говорили вокруг, он слышал, но как будто из страшной дали. Временами ему даже хотелось сказать им, что все в порядке, но шарф был повязан туго и распутить его он не мог.

Одновременно он был сильно поглощен новыми ощущениями. Он чувствовал себя легким, туманным и вполне подвижным. Он двигался внутри ка-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

кого-то черно-белого фильма, только черное не было вполне черным, а белое — белым. Скорее, все состояло из оттенков серого, как если бы пленка была старой и засажженной. Ничего неприятного в этом не было.

В движении, по которому он так стосковался за последние месяцы, было блаженство, сравнимое разве что с наркотическим. Тени, мелькавшие на обочине размытой дороги, были смутно-знакомыми. Некоторые напоминали древесные силуэты, другие были человекоподобны. И снова появился школьный учитель Николай Васильевич Галоша, и Алик с удовольствием отметил про себя, что это явление Николая Васильевича, математика, человека трезвого и строгого разума, и было как раз доказательством полной реальности происходящего и избавило от тонкого беспокойства: не сон ли это, не бред ли какой-нибудь... Николай Васильевич его явно узнал, сделал приветственный жест, и Алик понял, что тот к нему направляется.

Нина опять стала звенеть бутылочками, но звон был скорее приятный, музыкальный. Наливая в горсти остатки травяного настоя, она шептала что-то невнятное, но все это ему не мешало, совершенно не мешало. Галоша к тому времени был уже совсем рядом, и Алик увидел, что тот по-прежнему беззвучно пошлепывает губами, как это делал в школе, и эту его привычку Алик позабыл, но теперь с умилением вспомнил. Это тоже было очень убедительно: нет, не сон, все так оно и есть...

Людмила Улицкая

В середине дня пришел мастер по установке кондиционеров, индифферентный мулат в золотых цепочках, с молоденьким чахлым помощником, — кто-то из друзей оплатил вызов. Нинка впустила их в комнату, и они быстро паладили кондиционер, ни разу не взглянув в сторону умирающего. Жара в комнате довольно быстро сменилась пыльной прохладой. Потом пришла Валентина — Нинка ее не впустила, и она осталась сидеть в мастерской вместе с заплаканной Джойкой.

На грязном белом ковре в углу, засунув под голову свернутое одеяло, уютно устроилась Тинпорт и читала по-английски книгу, которую мечтала прочесть в оригинале. Это была «Великая Книга Освобождения». Со вчерашнего дня она все думала о том, какая жалость, что она не мужчина и не может уйти в тибетский монастырь. А с утра спросила у матери, нельзя ли ей сделать такую операцию, чтобы грудь в два раза уменьшить... Как будто это могло ее приблизить к прекрасному уделу тибетского монаха...

Подушки были засунуты за спину Алику, он почти сидел на кровати. Нина смачивала ему потемневшие и высохшие губы, пыталась вдуть воду через соломинку, но она сразу же вытекала.

— Алик, Алик. — Она звала его, трогала, гладила. Припала губами к подвздошной ямке, прошла языком вниз, к пупку, по той еле заметной линии, что делит человека надвое. Запах тела показался

БЕСЪАБЫЕ ПОХОРОНЫ

чужим, вкус кожи — горьким. В этой горечи она мариновала его два месяца, не переставая.

Она замерла лицом в рыжих завитках коротких волос и подумала: а волосы совершенно не меняются...

Наконец она перестала его тормошить и затихла, и тогда Алик сказал вдруг очень внятно:

— Нина, я совершенно выздоровел...

Когда Фима в восьмом часу приехал с работы, в спальне он застал престранное зрелище: голая Нипка, подложив под себя черное кимоно, сидела лицом к Алику, натирала свои чудесные руки травяной гущей и приговаривала:

— Ты видишь, как она помогает, такая хорошая травка...

Она подняла на Фиму сияющие глаза и сказала торжественно и полусонно:

— Алик мне сказал, что он выздоровел...

«Умер», — догадался Фима. Он коснулся Аликовой руки — она была пуста, барабанная музыка ушла из нее.

Фима вышел из спальни в мастерскую, налил себе полстакана дешевой водки из большой бутылки с ручкой, выпил, прошелся несколько раз из конца в конец мастерской. Народу было еще не так много, собирались попозже. Никто на него не смотрел, все были заняты: Валентина с Либиным играла в Аликовы нарды, Джойка раскладывала карты Таро,

Людмила Улицкая

которым научила ее Нишка, — пыталась внести ясность в свою и без того ясную одинокую жизнь. Файка ела яичницу с майонезом. Она все ела с майонезом. Московская Люда давно уже перемыла всю посуду и сидела теперь рядом с сыном около телевизора в ожидании свежих новостей из Москвы.

— Алеша, выключи телевизор. Алик умер, — тихо сказал Фима. Так тихо, что его не услышали. — Ребята, Алик умер, — повторил он так же тихо.

Хлопнул лифт, вошла Ирина.

— Алик умер, — сказал он ей, и тут наконец все услышали.

— Уже? — вырвалось у Валентины с такой тоской, как будто он обещал ей жить вечно и нарушил планы своей несвоевременной смертью.

— О, shit! — воскликнула Тинюрт и, отшвырнув книжку, бросилась к лифту, едва не сбив мать с ног.

Ирина стояла возле двери, потирая ушибленное плечо. «Может, в Россию съездить на недельку, найду Казанцевых, Гисю... — Гися была Аликова старшая сестра. — Она, наверное, совсем старуха, Алика старше была на четырнадцать лет. Она меня любила...»

Джойка отложила карты и заплакала.

Все стали почему-то одеваться. Валентина нырнула головой в длинную индийскую юбку. Люда надела босоножки. Хотели пойти в спальню, но Фима остановил:

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

— Погодите, Нинка еще не знает. Надо ей сказать.

— Ты скажи, — попросил Либин.

Он с Фимой уже три года не разговаривал, но тут и сам не заметил, как попросил.

Фима приоткрыл дверь спальни: там было все то же. Лежал Алик, покрытый до подбородка оранжевой простыней, на полу сидела Нинка, натирая свои узкие ступни с длинными пальцами, и приговаривала:

— Это хорошая травка, Алик, в ней ужасная сила...

Еще там был Киплинг. Он положил на тахту передние лапы, на них свою умную и печальную морду.

«Какая глупость про собак, что они боятся покойников», — подумал Фима.

Он приподнял Нинку, поднял с полу ее промокшее кимоно и накинул ей на плечи. Она была послушна.

— Он умер, — в который уже раз выговорил Фима, и ему показалось, что он уже привык к новому положению мира, в котором Алика больше нет.

Нинка посмотрела на него внимательными прозрачными глазами и улыбнулась. Лицо у нее было усталое и немного хитрое.

— Алик выздоровел, знаешь...

Он вывел ее из спальни. Валентина уже тащила ей питье. Нинка выпила, улыбнулась светской, ни к кому не обращенной улыбкой:

Людмила Улицкая

— Алик выздоровел, знаете? Он сам мне сказал...

Джойка издала звук, похожий на смех, и выскочила в кухню, зажимая рот. Снизу звонили в домофон. Нина сидела в кресле со светлым и растерянным лицом и гоняла палочкой лед в стакане.

Чисто Офелия. А защита — как у хорошего боксера: ничего не хочет знать. Все правильно, никогда он не мог ее оставить, она живет вне реальности, а он всегда ее безумие собой прикрывал. «Есть, есть логика в этом безумии». Делать Ирине здесь больше было нечего, захотелось поскорее уйти.

Она спустилась вниз. Тишорт не ждала ее около подъезда. Дочку свою она упустила. Ирина пересекла медленный машинный поток и зашла в кафе.

Догадливый черный бармен спросил утвердительно:

— Виски?

И тут же поставил стакан.

«А, конечно же, Аликов приятель», — сообразила Ирина и, указав пальцем в сторону противоположного дома, сказала:

— Алик умер.

Тот мгновенно понял, о ком идет речь. Он воздел лепные руки в серебряных кольцах и браслетах, так что они звякнули, сморщил темное ямайское лицо и сказал на языке Библии:

— Господи, почему ты забираешь у нас самое лучшее?

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Потом плеснул себе из толстой бутылки, быстро выпил и сказал Ирине:

— Слушай, девочка, а как там Нина? Я хочу дать ей денег.

Ее давно уже никто не называл девочкой.

И вдруг Ирину прожгло: он как будто никуда и не уезжал! Устроил ту Россию вокруг себя. Да и России той давно уже нет. И даже неизвестно, была ли... Беспечный, безответственный. Здесь так не живут. Так нигде не живут! Откуда, черт возьми, это обаяние, даже девочку мою зацепил? Ничего такого особенного ни для кого он не делал, почему это все для него расшибаются в лепешку... Нет, не понимаю. Не могу понять...

Ирина подошла к автомату в глубине кафе, сушила карточку, набрала длинный номер. Дома у Харриса стоял автоответчик, в конторе подошла старая обезьяна секретарша, сказала, что он сейчас занят.

— Соедините срочно, — попросила Ирина и назвалась.

Харрис тотчас же снял трубку.

— Я освободилась и могу приехать на weekend.

— Позвони, когда тебя встречать. — Голос его звучал суховато, но Ирина все равно знала, что он обрадовался.

Красноватое сухое лицо, чистые усы, опрятная зеркальная лысина... Диван, стакан, лимон... один-

Людмила Улицкая

надцать минут любви, можно проверять по часам, — и чувство полнейшей защищенности, когда устраиваешь голову на обросшей кудлатой шерстью широкой груди... Это все очень серьезно, и это надо довести до конца...

17

Прошлое было, конечно, неотменимо. Да и чего в нем было отменять...

Она отработала последнее представление в Бостоне и, не заходя в гостиницу, поехала в аэропорт. Купила билет и через два часа была в Нью-Йорке. Год был семьдесят пятый. В кармане оставалось после покупки билета четыреста тридцать долларов, которые она привезла из России в кармане брюк. Правильно сделала — деньги на руки трупне так и не дали, обещали выдать в последний день, на покупки, но ждать уже было невозможно.

Она сидела в самолете, поглядывала на часы и понимала, что скандал начнется завтра утром, а не сегодня вечером. Сегодня потное руководство будет бегать по паршивой гостиничке, ломиться во все номера и допрашивать, когда последний раз видели Ирку. Какие будут анафемы, начальник отдела кадров полетит с работы, это уж конечно... Отец на пенсии, наверняка чем-нибудь торгует, он выкрутится. А мама, умница, только обрадуется, маме позволено завтра. Скажу, что все у меня получилось отлично, нечего за меня беспокоиться...

БЕСЪАБЫЕ ПОХОРОНЫ

В Нью-Йорке позволила Перейре, цирковому менеджеру, который обещал помочь. Его не было дома. Как потом выяснилось, не было и в городе. Он просто забыл предупредить Ирину о своем отъезде. Второй случайный телефон, который был у нее, — Рея, клоуна, с которым она познакомилась за три года до того на цирковом фестивале в Праге. Он был дома. Она с трудом объяснила ему, кто она такая. Вне всякого сомнения, он ее не вспомнил, но приехать разрешил.

Ее первая ночь в Нью-Йорке прошла как в бреду. Рей жил в крохотной квартирке в Виллидже со своим другом. Тот и открыл дверь, стройный молодой человек в женском купальнике. Они оказались замечательные ребята и здорово ей помогли. Потом Рей признался, что совершенно ее не помнил и вообще не уверен, что был когда-либо в Праге.

Поскольку Бутан — имя ^{это}, фамилия или прозвище сожителя Рея, Ирина так и не узнала — жил в Америке нелегально уже пять лет, ее безумный шаг не показался им таким уж безумным. Сами они сидели в это время без денег и без ангажемента и размышляли, как бы им заплатить за квартиру. На следующее утро они оплатили счет Иркиными деньгами и отправились на заработки. Заработки имели место в Центральном парке, и, как они сказали, Ирка принесла удачу.

Первые несколько дней она корячилась на коврике со своими акробатическими штучками, а потом сшила пять тряпичных кукол, надела их на ру-

ки, на ноги и на голову, и заработки их совсем уж устроились. Ирка скромно спала на трех диванных подушках в смежной комнате, ни в чем не ограничивая их сексуальной свободы. Через некоторое время Бутан стал к ней слегка приставать, а Рей начал по этому поводу первничать. Идея их тройственного союза, таким образом, висела на волоске. Ирка еще выходила с ними на работу, но уже понимала, что надо срочно искать другой способ существования. Вообще они были славные ребята, и она как-то совершенно успокоилась насчет своей резкой линьки: оказалось, таких, как она, пол-Америки.

В один из августовских дней она отыграла свой номер возле входа в маленький зоопарк в Центральном парке и обнаружила себя в объятиях Алика, который двадцать минут внимательно наблюдал за веселой работой ее мускулистых рук и ног.

Еще через двадцать минут она вошла в тот самый лофт, в те времена еще не перегороженный. Алик к тому времени прожил уже два года в Америке, много работал и прилично продавался. Он был весел, независим, эмиграция его складывалась удачно. Он смотрел на Ирку, сделанную из маленького юркого животного, но с человеческим и дерзким лицом, и понимал, что она и есть то, чего ему не хватает.

С тех пор как они расстались, прошло семь лет. Теперь казалось, что это совершенно выброшенные годы, и они старались поскорее наверстать упущен-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

ные слова, жесты, движения. Им не хватало двадцати четырех часов в сутки. Все было стеклянным и прозрачным. Земли под ногами не было.

Однажды ночью, возвращаясь домой, они нашли выброшенный из богатого дома огромный белый ковер и с трудом приволокли его в мастерскую. Теперь Ирка сидела на этом ковре, в естественной для нее позе лотоса, и держала перед собой учебник английской грамматики. Это была Аликова идея, что начинать падо именно с грамматики. Она ее долбила. А он возился со своими гранатами. Весь дом был ими завален: розовыми, багровыми, ссохшимися, бурыми, разломленными и подгнившими — и просто их сухими трунами, из которых был выжат жгучий сок.

Гранаты на его картинах того времени присутствовали в одиночку, парами, небольшими группами, совершали обмены и перескидки. И можно было предположить, что, производя эти несложные манипуляции, он вдруг откроет новое, никому не известное число в пределах всем известного числового ряда, например, между семью и восемью...

Восемьдесят восемь дней прожила Ирка в этой мастерской. Они ели, разговаривали, обнимались, принимали теплый душ — потому что тогда тоже была жара и трубы прогревались, — и все было счастье, вернее сказать, только начало счастья, потому что и представить себе было невозможно, чтобы все это кончилось. Джазплинговские композиции рассыпались по почам.

Людмила Улицкая

В жестких Иркиных губах проступала расплывчатая нежность: она уже знала, что беременна, и все тело ее с головы до ног испытывало физиологическое счастье. Алик об этом еще не знал.

Он и без этого известия не особенно хорошо представлял себе, что ему делать. В то время он как раз ждал приезда Нинки, с которой развелся перед отъездом, и тогда ему самому не было ясно, развелся он с ней в шутку или всерьез. Отец ее никогда в жизни не дал бы ей разрешения на выезд, Алик же твердо решил уезжать. После его отъезда Нинка начала загибаться от своего тихого безумия, пыталась покончить с собой — это уже был второй суицид, лежала в психушке, звонила, звонила... Теперь же нашли, наконец, подставного американца, он на Нинке женился, и Нинка оформляла выезд на постоянное жительство к фиктивному мужу. Такие бумаги требовали иногда нескольких лет беготни.

Алик полоснул ножом по длинной розовой дыне, она распалась надвое — зазвонил телефон. Счастливая Нинка сообщила, что получила разрешение и уже заказала билет.

— Ну вот, а теперь я не знаю, как из этого выбираться, — положив трубку, объявил Алик.

Для Ирки вся эта история была совершеннейшей новостью.

— Без меня она не выживет, очень уж она слабая...

Он хорошо помнил, что Ирка сильная, умеет ходить на руках по самому краю крыши, не боится

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

ни начальств, ни властей... Поэтому он предполагал снять ей жилье у каких-то своих знакомых на Стейтен-Айленд и постепенно разобраться с глухой и безвыходной ситуацией, в которую попал. Про Иркину гордость, которая за эти годы не стала меньше, он забыл. За неделю до приезда Нишки, когда со знакомыми было уже обо всем договорено, Ирка ушла из Аликова дома, и, как ей казалось, навсегда...

18

Ирина вышла из кафе и остановилась, не зная, куда себя девать. Вероятно, надо схать домой — Тишорт, скорее всего, уже дома. К Аликову подъезду подкатил микроавтобус с кондиционером на крыше, встал прямо под табличкой «No standing any time» и выпустил из себя двух человек в униформе. Третий, с чемоданчиком, похожий на облысевшего Чарли Чаплина, семенил за ними.

«Труповозка, — догадалась Ирина. — Домой. Скорей домой».

Фима встретил служащих похоронок. Надо было развести мизансцену, он кивнул Валентине:

— Подержи ее здесь.

Но Нишка никуда и не рвалась. Она сидела в белом драпом кресле и загадочно бормотала что-то, поминая травку, божью волю и Аликов характер...

Людмила Улицкая

В спальне закрылись два добрых молодца и их дробненький начальник. Жалко, что Алик уже не мог улыбнуться этому комическому трио.

Пока Фима договаривался с ними о подробностях церемонии — Чарли Чаплин был вроде администратора среди них, — добрые молодцы вынули из чемоданчика огромный черный мешок из толстого пластика, похожий на те мусорные, которыми по вечерам забиты улицы, и ловким трехтактным движением сунули Алика в пакет, как покупку в магазине.

— Стоп, стоп, — остановил ребят Фима. — Минутку подождите. Чтоб жена не видела...

Он вышел в мастерскую, вытащил покорную Нинку из кресла и унес на кухню. Там он легонько прижал ее к себе и, коснувшись небритой щечкой ее длинной, покрытой тончайшими, как будто иголкой наведенными, морщинами шеи, спросил:

— Ну, зайка, скажи, чего хочешь? Хочешь, за травкой сбегаю?

— Нет, курить я не хочу. Я бы еще выпила...

Он сжал ее запястье, подержал полминуты.

— Давай я тебе укольчик сделаю, а? Хороший укольчик. — Он прикидывал, какой бы коктейль ей сейчас запузурить, чтобы отключить на время.

Пока он стоял, загоразивал широкой спиной дверь кухни, мимо нее похорошники вынесли этот черный мешок — как выносят старую вещь, сломавшую и пенужную.

Когда работяги открыли сзади люк багажника и

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

сунули в него черный мешок, Ирина уже шла по направлению к метро.

Потом Фима сделал Нинке укол, она заснула, проспала до следующего утра на той самой оранжевой простыне, с которой унесли ее мужа. Странно, но она даже не задала вопроса, где он. Она только время от времени, пока не уснула, нежно улыбалась и говорила:

— Вы меня никогда не слушаете, я же говорила — он выздоровеет...

Народ шел и шел. Многие не знали о его смерти, забегали просто так. Знакомых у него было очень много и помимо тех, кто составлял русско-еврейскую колонию этого огромного города. Пришел какой-то итальянский певец, с которым Алик подружился когда-то в Риме. Пришел хозяин кафе и действительно принес чек. Либин по старой российской традиции собирал деньги. Пришли какие-то люди из Москвы, один с письмом для Алика, другой назвался его старым другом. Заходили какие-то уличные, никому не известные. Звонил телефон то из Парижа, то из Ярославля.

Отец Виктор, когда узнал о предсмертном крещении Алика, охнул, всплеснул руками, замотал головой, а потом сказал:

— На все воля божья...

Да и что еще мог сказать честный православный человек...

Утром, накануне похорон, он засхал за Нинкой на своей древней машине, привез ее в пустой

Людмила Улицкая

храм — службы в этот день не было — и совершил заочное отпевание почти заочно крещенного человека. Он пропел низким полновзвучным голосом лучшие из всех слов, которые были придуманы для этого случая. Нина сияла радостью и ангельской красотой, а Валентина, стоявшая позади нее со свечой, в снопе пыльного света, шедшего с потолочного окна, отпустила самой себе грех своей любви к чужому мужу.

Когда умоляли в пустом пыльном воздухе последние отголоски поющего голоса, Валентина взяла из рук отца Виктора квадратный сверток с землей, белую ленту с молитвой и маленькую бумажную иконку. В гроб положить.

Потом Валентина подхватила шаткую Нинку под руку и усадила в такси. Входя в желтую потрепанную тачку, Нинка склонила маленькую голову и двинула плечами так, как будто ехала в «Роллс-Ройсе» на прием в Букингемский дворец.

«Вот бедная птичка осталась на мою голову, — вздохнула Валентина. — Господи боже мой, неужели я ее столько лет ненавидела?..»

19

Содержатели похоронного дела Робинсы, в прошлом веке Рабиновичи, распатали всем известную еврейскую негибимость до такой гуманной и коммерчески оправданной веротерпимости, что за по-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

следние пятьдесят лет превратились из «Еврейского погребального общества» просто в «Погребальный дом» с четырьмя отдельными залами, где происходили церемонии всех религиозных конфессий с самыми разнообразными причудами. Как раз на прошлой неделе мистеру Робинсу пришлось в одном из залов монтировать киноэкран, чтобы в присутствии непогребенного покойника, в соответствии с его завещанием, продемонстрировать родственникам и друзьям непосредственно перед похоронами трехчасовой кинофильм о его концертной деятельности. Он был чечеточник. ♣

Сценарий Аликовых похорон был относительно скромным: никакой религиозной процедуры не заказали, отказались от надгробной плиты, — а у Робинса была порядочная гранитная мастерская, — но оплатили место в еврейской, наиболее дорогой, части кладбища. Место, правда, было паршивое — возле самой стены и без прохода.

Церемония была назначена на три часа, и без десяти три холл перед залом был полон. Нынешний Робинс, четвертый владелец безотказного, не знающего экономического спада дела, красивый старик с левантийской внешностью, был в недоумении. Он полагал, что по характеру участников церемонии может сказать о своем клиенте все. В этой психологической игре он видел одну из самых привлекательных сторон своей профессии. На этот раз он не только не смог сразу определить имущественного ценза клиента, но даже усомнился в его националь-

Людмила Улицкая

пости, на которую, казалось бы, недвусмысленно указывало желание родственников похоронить его в еврейской части кладбища.

В толпе были негры, что крайне редко наблюдалось на еврейских похоронах. Правда, судя по одежде, это были люди артистического мира. Лицо одного старика показалось Робинсу знакомым: это был знаменитый саксофонист, фамилию которого он не мог вспомнить, но видел его то ли на обложках журналов, то ли по телевидению. Присутствовало также несколько южноамериканских индейцев. Среди белых гостей тоже была полная разногосица: солидные еврейские пары, несколько великолепных англосаксов, видимо, богатые галерейщики, а также русские разных сортов — от вполне приличных до шаромыжников, к тому же подвыпивших. Робинс был американцем четвертого поколения, выходцем из России, но вместе с русским языком давно утратил романтическую привязанность к опасной стране и ее шальному народу.

«Странный клиент, — думал он. — Вероятно, музыкант».

Он даже сделал крюк через служебное помещение, чтобы взглянуть на нестандартного покойника...

Ровно в три вошла Нинка. Все вдохнули — и выдохнули. Из-под черной шелковой шляпы, из-под широкой вуали падали на две стороны ее знаменитые волосы — золото с серебром. Поверх короткого черного платья было накинуто прозрачное туа-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

левое пальто до пят, тоже черное, а туфли были на тот момент старомодными — на высокой платформе, с огромными гранеными каблуками.

Галерейщики застонали, и один шепнул на ухо другому:

— Лиф Вортеа, лучшая идея в истории костюма всех времен и народов. Бесподобно. У Алика спогсшибательный вкус. Если бы он занимался костюмом, мы бы имели не довольно ординарную живонись, а гениального модельера.

— Изумительная модель, — оценил второй. — Я ее еще три года назад заметил.

— Старая, — с сожалением отозвался первый.

Фима, в голубой рубашке с симметричными пятнами пота под мышками, в сандалиях на босу ногу, вел Нишу, испытывая противоречивые чувства острой жалости к бедняжке и глубокого отвращения к роли, которую он вынужден был играть, совершенно не имея склонности к самодеятельному театру. К тому же он в эти два дня успел нахлебаться говна по самые уши, пока добывал деньги на похороны.

Ниша шла как «черная невеста», как сати — индийская вдова, восходящая на погребальный костер. Со дня смерти Алика она помнила только две вещи: что он выздоровел и что его больше нет. Эти вещи не совместились бы в обычном человеческом сознании. Но в ее маленькой головке, празднично посаженной на длинной шее, что-то сместилось давным-давно, как от легкого поворота перестран-

Людмила Улицкая

вається узор в окошечке калейдоскопа, и все улеглось новым порядком, писколько не мешая одно другому, в успокоительной отдельности.

Слова «смерть», «умер», «похороны» постоянно эти дни звучали вокруг нее, но не проникали сквозь невидимый занавес, им просто не было места в том узоре, который сложился теперь в ее сознании.

Зачем-то ее привели сюда. Это было связано с Аликсом. Аликс любил, чтобы она была красиво одета. Она тщательно готовилась и продумывала свой наряд для него...

Она прошла через толпу людей, никого не узнавая. Лево́й рукой она прижимала к груди черную лакированную сумочку в виде трехслойного бублика, а в правой держала толстые стебли лилий, которые волочились своими бело-зелеными надменными головками за подолом ее прозрачного пальто.

Толпа перед ней расступалась, расступились и двери зала как раз в тот момент, когда она к ним подошла. Не замедлив шага, она вошла в зал. За ней расширяющимся треугольником следовали люди. Очень много людей с цветами, гораздо больше, чем обычно вмещал этот зал.

В торце стоял катафалк, а на нем большая белая коробка, по форме напоминающая футляр от одеколона. В коробке лежала прекрасно раскрашенная кукла в виде рыжеволосого подростка с маленьким лицом и маленькими усиками.

Господин с внешностью телевизионного диктора в годах уже было раскрыл рот, но Нинка прошла

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

сквозь него. И хотя господин был явно недоволен, что экстравагантная вдова так бесцеремонно его отодвинула, он посторонился.

Она подняла вуаль, склонилась, пристально вглядываясь в этот плохой скульптурный портрет из странного неузнаваемого материала, и улыбнулась маленькой понимающей улыбкой.

«Вместо Алика», — догадалась она.

Когда она подняла голову, то стоящие рядом галерейщики увидели, что от прямого пробора вниз по лицу идет черная, тонко наведенная полоска, спускается на шею и исчезает в глубоком вырезе платья.

— Ну, класс, — одобрительно шепнул один галерейщик другому.

— Дамы и господа! — торжественно произнес официальный господин...

Это был точный и дословный перевод той кладбищенской галиматши, которую обыкновенно произносит над фиктивной печью крематория толстая дама в провинциальном костюме из черного кримплен по другую сторону океана...

Гроб полагалось везти на катафалке, и делали это служители. Но участок находился в такой густонаселенной части кладбища, что пронести туда гроб можно было только на руках, да и то наступая на чужие могилы. Метрах в тридцати от места тропка резко оборвалась, оставив только проход в стопу шириной. Мужчины прошли вперед, выстроились цепочкой до вырытой заранее могилы, и

Людмила Улицкая

белый челнок поплыл, передаваемый с рук на руки, до места своей последней стоянки. Он опасно и весело покачивался над головами. Августовское сильное солнце пригнало вдруг ветерок с оксана. Нишка стояла на постаменте чужого памятника, рядом со свежей ямой, земля из которой была аккуратно сложена в жгуче-розовые корзины, а ветер тянул назад черную туаль ее наряда, и липяло-драгоценные волосы шевелились на ветру, как парус.

Ирина стояла в самой гуще толпы. С Аликком она попрощалась давным-давно. Теперь у нее была другая забота: она создавала отца своему ребенку. Собственно, ничего особенного ей и не пришлось делать, они сами нашли друг друга. Ей только пришлось вложить в это предприятие довольно много денег — невозвратных. Вот и эта могила, в нее тоже немало вложено: у девочки был любимый отец и будет его могила. Ирина усмехнулась: все простила, но ничего не забыла... Я рожала свою дочку в больнице для бедных, а ты в это время миловался с Нишкой и, может, с этой второй телкой, Валентиной... Стоит на полшага сзади, но рядом, место свое знает... Интересно, она хитрая сволочь или просто баба хорошая?.. Какая я стала злая... Алик, Алик, все могло быть по-другому. А не смогло... И хорошо!

В этой отдаленной части кладбища, у самой ограды, могильные плиты устремились вверх. Вокруг каждой, лежащей горизонтально, вздымалось несколько родственных, стоящих будто на одной ноге.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Квадратные угловатые надписи, сохранившие в своей графике память о глиняной дощечке и тростниковой палочке, мешались с английскими, с целепоготическим акцентом, выдававшим место рождения и в камне воплощенные вкусы давно ушедших людей.

Закрытый гроб стоял на соседней могиле, и подоспевший Робинс, почтивший своим присутствием необычного клиента, скомандовал дирижерским движением — опускать. Валентина что-то сказала Нишке, и та раскрыла свою круглую сумочку и вытащила из нее пакетик с землей. Она сыпала ее щепотками, как солят суп, и шевелила губами. Двое рабочих ждали паготове с лопатами.

— Погодите, погодите! — раздался вдруг вопль с главной дорожки.

За спинами людей шло какое-то неясное движение, толкотня, трудное и неловкое протискивание. Наконец, растолкав всех, появился пылающий Лева Готлиб. За ним следовало еще некоторое количество бородатых свресев, общим числом десять. Эта команда немного опоздала. Они вылезли из автобуса и заблудились, поскольку у каждого было свое собственное суждение о том, где должна находиться контора. Теперь, натягивая на ходу молитвенные покрывала и тфиллин, расталкивая мужчин и наступая на ноги женщинам, они возглашали первые слова:

— Да возвеличится и освятится Великое Имя

Людмила Улицкая

Его в мире, который Он вновь создаст, когда Он воскресит мертвых и призовет их к вечной жизни...

Они запели и запричитали высокими печальными голосами, но едва ли кто, кроме Робинса, понимал смысл этих древних восклицаний...

— Откуда взялись эти древнеевреи? — спросила Валентина у Либины.

— Ты что, не видишь: Готтлиб привел...

Они так и не узнали, что это реб Менаше позаботился о бедном «плененном ребенке»...

У Валентины возникло подозрение, что евреи слишком уж декоративные: не актеры ли из какого-нибудь маленького театрала с Брайтон-Бич?

«Надо у Алика спросить...» — и в ту же секунду поняла, что есть множество, великое множество вещей, спросить о которых ей теперь будет не у кого...

Они прочли поминальные молитвы, это было недолго. Потом передние стали отступать от могилы, задние просачивались вперед, гора цветов росла, была уже Нинке по пояс, а она все укладывала каждый цветок отдельно, гладила, устранивала не то страшный домок, не то мавзолей и улыбалась так, что теперь уже многие заметили, что она похожа на престарелую Офелию.

Потом все попятились прочь, и теперь евреи, стянув с себя белые покрывала и обнажив обуглившиеся на солнце черные костюмы, оказались в числе последних, но Нинка дождалась их и просила приехать в дом на поминки. Самый старший из них,

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

лысый, с приклеенной пластырем прямо к голой голове кипе, подняв две сухие ручки на уровень лица и растопырив желтые пальцы, горестно сказал:

— Деточка! Когда евреи имеют покойника, они делают шиву — садятся наземь и имеют пост... Хотя выпить рюмку водки очень хорошо...

В дымящихся черных костюмах они влезли в микроавтобус, на котором синими буквами по блесму было написано «Temple Zion»...

20

Тинпорт и Джойка на похороны не поехали. Они остались дома. Тинпорт занялась развеской. Вытащила старые картины, разгребла двухлетнюю пыль, соображала, как повесить. Разом, как глаза у котенка на седьмой день, у нее открылось зрение, она начала видеть Аликовы картины: какую — куда — эту — рядом — ту — выше — ту — убрать совсем... Ничего не надо было решать, надо было только смотреть, а они сами выстраивались по-умному и красиво...

«Пойду искусствоведение изучать», — решила она немедленно, забыв, что на прошлой неделе уже посвятила себя Тибету.

Ей больше нравились картины среднего и маленького размера, но просилась в торец большая, и она позвала на подмогу Джойку с Людой, и они повесили трехметровое полотно, которое лет пять

Людмила Улицкая



стояло лицом к стене. Там было очень, слишком уж много всего нарисовано: какой-то осенний праздник с виноградом, грушами и гранатами, шляпущими жепципами и детьми, кувшины с вином, дальние горы и человек, входящий под навес...

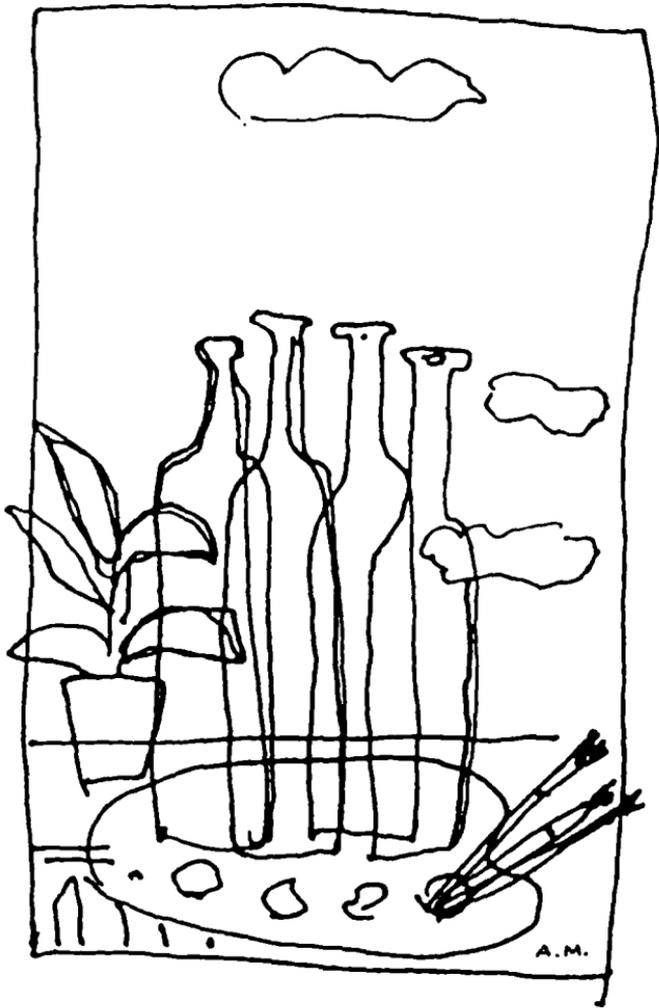
Люда резала сыр и колбасу, крошила салаты, Джойка медлительно и сонно разносила по всем углам разовую посуду и русско-еврейскую якобы домашнюю еду, купленную в эмигрантском магазине: селедка, пирожки, студень, салат, называемый русскими «оливье», а другими народами «русским»...

Приехали все сразу, большой толпой. Грузовой лифт поднял их снизу в три приема. Человек пятьдесят сели за общий стол, составленный из досок и всякого хлама, остальные, взявши рюмки и тарелки, как на американском парти, бродили из угла в угол. Удивительно, как при таком скоплении народа может возникнуть чувство пустоты.

Вашингтонские галерейщики тоже приехали. Они ходили по мастерской, как по выставочному залу, и разглядывали работы. Вид у них был недовольный, и минут через десять, когда народ еще и пить не начал, они поцеловали Нинке руку и исчезли.

Ирина смотрела на них без всякого удовольствия — ей еще предстояло с ними потягаться. Как бы там ни было, а денег-то Алику они не отдали и работ не вернули...

Людила Улицкая



Файка оказалась тем знатоком обрядов, который всегда обнаруживается на свадьбе и на похоронах. Она налила рюмку водки, накрыла ее куском черного хлеба и поставила на тарелку:

— Алику.

Так было надо.

Застольно и подготовительно гудели — без громких разговоров, без всплесков отдельных голосов. Монотонное бормотание да звяканье стекла. Разливали водку.

В дверях стояла Тишорт, бледная, с опухшим ртом и розовыми поздырями, в черной майке с желто-оранжевой надписью. В кармане, в потной руке, она давно уже держала ту пластмассовую коробочку, и теперь настало время, когда она должна была ее предъявить.

Нина сидела на подлокотнике белого кресла, а в кресле никого не было. Фима встал с поднятой рюмкой и собрался говорить.

— Послушайте все! — крикнула Тишорт.

Ирина замерла — чего угодно она могла ожидать от своей странной девочки, но только не публичного выступления.

— Послушайте! Алику просил вам вот что передать!

Все обернулись в ее сторону — она багровела на глазах, как индикаторная бумага при химической реакции, но тут же села на корточки и вставила кассету в магнитофон, который, как обычно,

Людила Улицкая

стоял на полу. И почти сразу же, почти без паузы, раздался ясный и довольно высокий голос Алика:

— Ребятки! Девчущки! Зайки мои!

Нинка вцепилась руками в подлокотник. Аликов голос продолжал:

— Я здесь, ребятки, с вами! Наливаем! Выпиваем и закусываем! Как всегда! Как обычно!

Каким простым и механическим способом он разрушил в одно мгновение вековечную стену, бросил легкий камушек с того берега, покрытого неразстворимым туманом, непринужденно вышел на мгновение из-под власти неодолимого закона, не прибегая ни к насильственным приемам магии, ни к помощи пскромантов и медиумов, шатких столиков и вертлявых блюдецек... Просто протянул руку тем, кого любил...

— И прошу вас, пожалуйста, без всяких мудовых рыданий! Все отлично! Своим чередом! О'кей? Да?

...Громко всхлинула Джойка. Окаменела, слегка выпучив глаза, Нина. Женщины, пренебрегая Аликовой просьбой, дружно заплакали. И те из мужчин, кто мог себе это позволить, тоже. Достал из кармана клетчатую тряпочку, прикидывающуюся посовым платком, Фима.

Алик как будто их видел:

— Ну что вы такие прихуевшие, ребятки? Выпьем за меня! Ниночка, за меня! Посхали! Тишорт, детка, выруби на минутку магнитофон.

Потекла пауза. Тишорт пажала на кнопку не

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

сразу, а лишь после того, как раздался снова голос Алика:

— Выпили?..

Она отмотала назад.

Выпили стоя и не чокаясь. Великая пустота, которая возникает после смерти, была заполнена обманным путем. Но — удивительное дело! — она была все-таки заполнена.

Ирина стояла, прислонившись к дверному косяку. Она свое раньше отплакала. Но все равно зацепило — чего же в нем было такого особенного? Он всех любил? Да в чем она, любовь эта, заключалась? Художник хороший? А что это сегодня значит? Не покупают — значит, плохой... Художник по жизни. Художественно жил... А я зачем тащу свои кирпичи, зачем беру препятствия, зарабатываю кучу денег? Как это нехудожественно... Оттого, дружок, что тебя со мной не было? А где ты был?

— Выпили? — снова раздался голос Алика. — Я очень прошу, чтобы все как следует напились. Главное, не сидите с плачевными мордами. Лучше потанцуйте. Да, вот что я хотел сказать: Либин и Фима! Если вы сегодня не помиритесь, то будете засранцы. Нас так мало, всего ничего. Выпейте, пожалуйста, в мою честь и кончайте дурацкие разборки!

Либин и Фима через стол смотрели друг на друга, бывшие друзья, мальчики с одного двора, и улы-

Людмила Улицкая

балнесь запоздалой ругани Алика. Они уже примирились в эти горячие месяцы. В общих многолюдных возмениях этих дней, с танками, стрельбой, московской революцией, в репликах, ни к кому не обращенных, но падающих в нужном направлении, давняя обида развеялась.

— Не чокаются, не чокаются! — заверещала Файка.

— Погоди, из бумаги перелью.

Стаканы грубо и глухо стукнулись.

— Будь здоров, Шерпавый!

— И ты будь здоров, Лифчик.

Был действительно некий лифчик, белый, на крупных костяных пуговицах, с растянутыми резинками и проволочными, обвязанными толстой ниткой чулочными застежками. В Харькове, после войны, в позапрошлой жизни...

— Ребята, я не могу вам сказать спасибо, потому что таких спасибо не бывает. Я вас всех обожаю. Особенно вас, девчунки. Я даже благодарен этой проклятой болячке. Если бы не она, я бы не знал, какие вы... Глупость сказал. Всегда знал. Я хочу выпить за вас. Нипочка, держись! За тебя, Типорт! За тебя, Валентина! Джойка, за тебя! Пирожковой привет, я ее люблю безумно! Файка, спасибо, зайка! Отличные фотки сделала! Нелечка, Люда, Натанка, все-все, за вас! Мужики, за вас! За ваше здоровье! Да, еще хотел сказать: я хочу, чтобы было весело. Все. Пиздец.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Пленка крутилась с легким шорохом, на ней уже не было никаких слов, но можно было расслышать хрипловатые вздохи. Никто не пил. Все молча стояли с рюмками и слушали редкие судорожные воздушные всхлипы, да индейская музыка неравномерно прорывалась в эту пустую пленку с улицы через открытое окно. Все слушали напряженно, как будто можно было там выслушать еще что-то важное, и оказалось, что действительно это не все: раздался щелчок лифта, хлопнула дверь.

— Тишка, выключи магнитофон, — сказал Аликов голос, обыденный и усталый и без всякого пафоса. Тогда раздался щелчок, и все смолкло.

Сначала веселья не получалось. Было как-то слишком тихо. Аликов сделал, как обычно, нечто необычное: три дня тому назад был живой, потом стал мертвый, а теперь занял какое-то третье, страшное, положение, и оттого все были в смущении и в печали, хотя алкоголем никак не пренебрегали.

К столу подходили, отходили, таскали из угла в угол тарелки и стаканы, перемещались, склеивались в группки и опять перемещались. Свет не видывал такой пестрой компании: пришли Аликовы друзья-музыканты и еще какие-то отдельные люди, которых раньше никто в глаза не видел, и непонятно было, где он их подцепил и как они узнали о его

Людмила Улицкая

смерти. Парагвайцы держались слитной фалангой, и только их предводитель выделялся темно-розовым шрамом и общей окаменелостью красивого лица. Колумбийский профессор оживленно общался с водителем мусоровоза. Берману приглянулась Джойка, но он по занятости два года не прикасался к женщине и не был уверен, что джина следует выпускать из бутылки... А знай он про нее то, что было известно Алику, он бы к ней и близко не подошел: она была девственница и к тому же происходила из древнейшей римской семьи, упоминавшейся Тацитом...

Нина попросила достать с антресоли серую коробку. В ней было трогательное богатство, переправленное в свое время в Америку через дипломатических знакомых, — первый джаз, совершивший путешествие за железный занавес и обратно. Среди тяжелых черных блинов попадались самодельные, «на костях». Там же лежали и коричневые ленты первых магнитофонных записей...

Один Алик умел танцевать танго по-настоящему, со всеми сложными па, резкими замирающими и глубокими запрокидываниями, которые в пятидесятые годы логично перешли к рок-н-роллу...

Сегодня его заменил на этом месте Либиш. Они двигались с Нинкой рывками, с резкими поворотами, но Либишу не хватало артистической томности, без которой танго лишено своего главного аромата... Черный саксофонист облюбовал беленькую

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Файку, и она очень первничала, поскольку, с одной стороны, подобно большинству российских эмигрантов, была расисткой, с другой стороны, перед ней был несомненно американский продукт, которого она еще не пробовала...

В доме раскачивалось веселье. Те, кого это оскорбляло, ушли. Ушел и Берман с Джойкой. Каждый из них принял свое решение, но не был уверен, получится ли. Джойку колотило от страха, и больше всего она боялась, что с ней случится истерика. Но все произошло так прекрасно и красиво, что к утру они оба точно знали, что не напрасно так долго жили в одиночестве.

В начале одиннадцатого часа пришел хозяин в сопровождении смущенного Клода. Он сам сообщил хозяйину, что жилец умер, и тот, переждав несколько дней, выбрал-таки подходящий момент, чтобы оповестить Нинку об освобождении помещения с первого числа.

Когда хозяин подошел к ней, чтобы собственноручно вручить извещение, она, перепугав его с кем-то, поцеловала его и сказала по-русски, чтоб он взял стакан.

Деловую бумажку она рассеянно уронила на стол, и она тут же соскользнула на пол. Нинка и не подумала ее поднять. Хозяин пожал плечами и удалился, глубоко возмущенный. Клоду так и не удалось убедить его, что он присутствовал на традиционных русских поминках...

Людмила Улицкая

Кто-то поставил старую магнитофонную запись. Это был московский шлягер конца пятидесятых, домашняя смешная переделка:

Москва, Калуга, Лос-Анжелос
Объединились в один колхоз...
О Сан-Луи, сто второй этаж,
Там русский Валя лабает джаз...

Какая же это была древняя и милая музыка, все ей улыбались, и американцы, и русские, но русским она дороже стоила, эта музыка, — за нее когда-то посочили на собраниях, выгоняли из школ и институтов. Файка пыталась своему кавалеру это объяснить, но никаких слов на это не хватало. Да и как это объяснить, когда все грустно-грустно, а вдруг такая сладкая радость немножко проливается или, наоборот, такое веселье, полная радость тела, а откуда ни возьмись такая печальная нота, и сердце зажимает... Вот за то и гоняли...

Люда, настолько прижившаяся за эти дни в доме, что, выпив, позабыла, где она находится, все порывалась сбежать к соседке Томочке, излить ей душу, и никак не могла взять в толк, что Среднеушский переулок — не за углом.

— Мам, ну до чего ж ты смешная пьяная, никогда не видел. Тебе идет, — тянул ее сын от двери.

Тиншорт подошла к Ирине и тронула ее за плечо:

— Пошли, мам. Хватит.
Вид у нее был строгий.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Поджарая и легкая Ирипа шла рядом со своей недопеченной рыхлой дочкой и чувствовала, что между ними что-то происходит — и произошло уже: ушло напряжение последних лет, когда она постоянно чувствовала хмурое недовольство дочери и ее неприязнь.

— Мам, а кто это Пирожкова?

Так получилось, что она впервые слышала эту фамилию. Ирипа не сразу ответила, хотя и давно готовилась:

— Я Пирожкова. У нас был роман в ранней юности. В твоём примерно возрасте. Потом разошлись, а много лет спустя снова встретились. Получилось ненадолго. А на память об этой встрече Пирожкова оставила себе ребеночка.

— Молодец, Пирожкова, — одобрила Тишорт. — А он знал?

— Тогда — нет. А потом, может, догадался.

— Хороши родители, — хмыкнула Тишорт.

— Не нравятся? — резко остановилась Ирипа. Она давно была уязвлена тем, что не нравится дочери.

— Нет, нравятся. Все другие еще хуже. Он знал, конечно. — Голос у Тишорт был взрослый и усталый.

— Ты думаешь, знал? — встрепнулась Ирипа.

— Я не думаю, я знаю, — твердым голосом сказала Тишорт. — Ужасно, что его больше нет.

Негромкое жужжание русско-английского разговора прервалось резким и высоким взвизгом. Сбросив с ног черные китайские тапочки, Валентина щегольским движением, каким удалой гитарист ударяет по струнам, рванула верхнюю пуговку желтой рубахи, так что все остальные посыпались на пол мелким дождичком, и вышла, кренко шлепая толстыми роговыми пятками и блестя лаковым матрешчьим лицом.

Ах — тю, ах — тю!
 У тебя в дегтю,
 У меня в тесте,
 Слепимся вместе!
 Ай-ляй-ляй-ляй-ляй! —

испустила Валентина высокий переливчатый и длинный вопль.

Шлепнув себя по бедрам, она ловко заколотила ногами по грязному полу.

Мотавшаяся все студенческие годы по северным экспедициям, собиравшая осколки живой русской речи в Полесье, под Архангельском, в верховьях Волги, когда-то она изучала фольклорные непристойности, как другие ученые — строение клеточного ядра или движение перелетных птиц. Она помнила частушки тысячами, вместе с диалектами и интонациями, во всех многочисленных вариантах, и стоило ей только разрешить себе открыть

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

рот, как они слетали с языка, живые и неповрежденные, как будто только вчера с деревенской вечерки...

Ух-тюх-тюх-тюх!

Разгорелся мой уголок... —

рассыпала она вокруг себя мелкие угольки, а темные пятки ее выделывали такую резвую дробь, как будто она затаптывала эти горячие угольки, вывалившиеся из печки.

Парагвайцы просто заплись от счастья, особенно их главарь.

— Что это? — спросил саксофонист у Файки, но она таких слов не знала и потому ответила приблизительно:

— Это русский кантри...

Нинка, еще до начала Валсептининого фольклорного хита, с прямой спиной и запрокинутой головой, как через сцену, прошла к себе в спальню. Здесь, в полутьме, она присела на край тахты и, услышав звяканье стекла, поняла, что она здесь не одна. В углу, на корточках, спиной к ней, сидел Алик. Он передвигал оставленные там бутылки, что-то искал.

Нина не удивилась, но и не двинулась с места.

— Что ты там ищешь, Алик?

— Да маленькая такая бутылка стояла, темного стекла, — с легким раздражением ответил он.

Людмила Улицкая



— Там и стоит, — отозвалась Нина.

— А, вот она, — обрадовался Алик и поднялся, прижимая к старой красной рубашке темную бутылку.

Нинка хотела его предупредить, чтоб он был аккуратнее, от этих травяных растворов остаются отвратительные бурые пятна, но не успела. Он шел мимо нее, и она заметила, что он действительно совершенно выздоровел, поправился и походка его прежняя, легкая и чуть разболтанная в коленях. И еще. Проходя мимо, он легко погладил ее по волосам, и не кое-как, а своим собственным давним жестом: разведя пальцы гребенкой, он запустил их Нинке в волосы, у самых корней, и прошелся ото лба к затылку. И еще она увидела, что ее крестик висит у него на груди, и поняла, что все у нее получилось.

«Надо будет обязательно потом сказать Валентине», — подумала она и, коснувшись головой подушки, мгновенно уснула...

Но Валентину она все равно в это время не нашла бы — она была далеко. В ванной комнате, в душевом отсеке, коротконогий жилистый индеец коротким массивным орудием наносил ей удар за ударом. Она видела его черные волосы, распустившиеся вдоль втянутых щек, розовую полоску новой кожи, натянутой на шрам. На лодыжках и на запястьях она ощущала железный хват, но при этом вся была на весу, без упора, и двигалась сильными

Людмила Улицкая

рывками вверх и вперед. Происходящее несколько не напоминало ничего, что она испытывала в жизни, и это было потрясающе.

21

Телефонный звонок разбудил Ирипу среди ночи.

«Наверное, Нинка пьяная звонит», — подумала она и потянула к себе трубку.

Мельком взглянула на часы — начало второго.

Однако звонила вовсе не Нинка — звонил один из галерейщиков, тот, который вел бумажные дела.

— У нас возникло срочное дело относительно вашего клиента, — начал он с ходу. — Мы хотели бы приобрести все оставшиеся в его мастерской работы, но не затягивая.

Ирина держала паузу — она этому была обучена.

— Ну и, разумеется, мы хотели бы, чтобы вы отозвали иск. Сейчас все наши отношения будут пересмотрены...

Раз, два, три, четыре, пять — получай!

— Ну, во-первых, что касается иска, это отдельное дело, и мы ни при каких обстоятельствах не будем их объединять в одно. А относительно работ моего клиента — это мы сможем обсудить с вами в конце будущей недели, после моего возвращения из Лондона. Я еду как раз по поводу этих ра-

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

бот, — с большим профессиональным удовольствием соврала она.

Спа уже не было ни в одном глазу. Она встала, вышла в гостиную. Из-под двери Тинпорт выбивалась махровая полоска света. Она постучала.

Тинпорт в длинной почпой рубашке — в такую-то жару — приподнялась на локте, убрав книгу.

— Ну что?

— Похоже, он все-таки был хороший художник. Эти бандиты звонили, хотят купить все оставшиеся после Алика работы.

— Да ты что! — обрадовалась Тинпорт.

— Да. Я, может, еще для тебя наследство выколочу. Вот так.

— Ты смеешься, какое наследство? А Нинка? С ней что мы будем делать?

— Ну, Нинка меня не интересует. А за этими деньгами еще придется ой как побегать. — Вид у Ирины был очень усталый, и Тинпорт подумала, что мама стареет и ночью, без краски, совсем не красавица, а так себе...

— Знаешь что, давай в Россию съездим. — Тинпорт отодвинулась, освобождая Ирине место.

Долгие годы Тинпорт не могла засыпать одна, и Ирина неслась с другого конца города, чтобы это несчастное молчаливое существо уткнулось в ее плечо и заснуло...

Ирина легла, устранивая свои толстые косточки поудобнее.

Людмила Улицкая

— Я уже и сама об этом думала. Поседем, обязательно поседем, только вот немного устаканится.

— У — что? Как ты сказала?

— Устаканится, ну, придет в порядок, что ли...

— Нет, Алик говорил, что если там придет в порядок, то это будет другая страна.

— А вот об этом не беспокойся: чего-чего, а порядка там никогда не будет...

Ирина погладила рыжую голову дочери, и та не дернулась, не фыркнула.

«Ну что ж, — решила Ирина, — будем считать, что все кончилось».

Нью-Йорк — Москва — Мон-Нуар.
1992 — 1997

Литературно-художественное издание
Людмила Улицкая
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

Редактор *Н. Крылова*
Художественный редактор *С. Курбатов*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *А. Щербакова*
Корректор *З. Харитоновна*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать с готовых монтажей 06.12.2001.
Формат 70х90 1/32. Гарнитура «Бодони». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 7,02.

Доп. тираж 6100 экз. Заказ 3425

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.

Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

Книга — почтой: Книжный клуб «ЭКСМО»
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1.
Тел./факс: (095) 932-74-71



Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК»
представляет самый широкий ассортимент книг
издательства «ЭКСМО».

Информация в Санкт-Петербурге по тел. 050.



Книжный магазин издательства «ЭКСМО»
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»)

ISBN 5-04-007783-1



9 785040 077830 >

Последнее десятилетие принесло Людмиле Улицкой большой успех — на родине ее книги дважды входили в «шорт-лист» Букеровской премии, во Франции в 1996 году повесть «Сонечка» получила престижную литературную премию Медичи, ее произведения дважды были отмечены литературными премиями в Италии. Людмила Улицкая — автор нескольких сборников рассказов, романов «Медея и ее дети» и «Казус Кукоцкого». Книги Людмилы Улицкой переведены на многие языки.